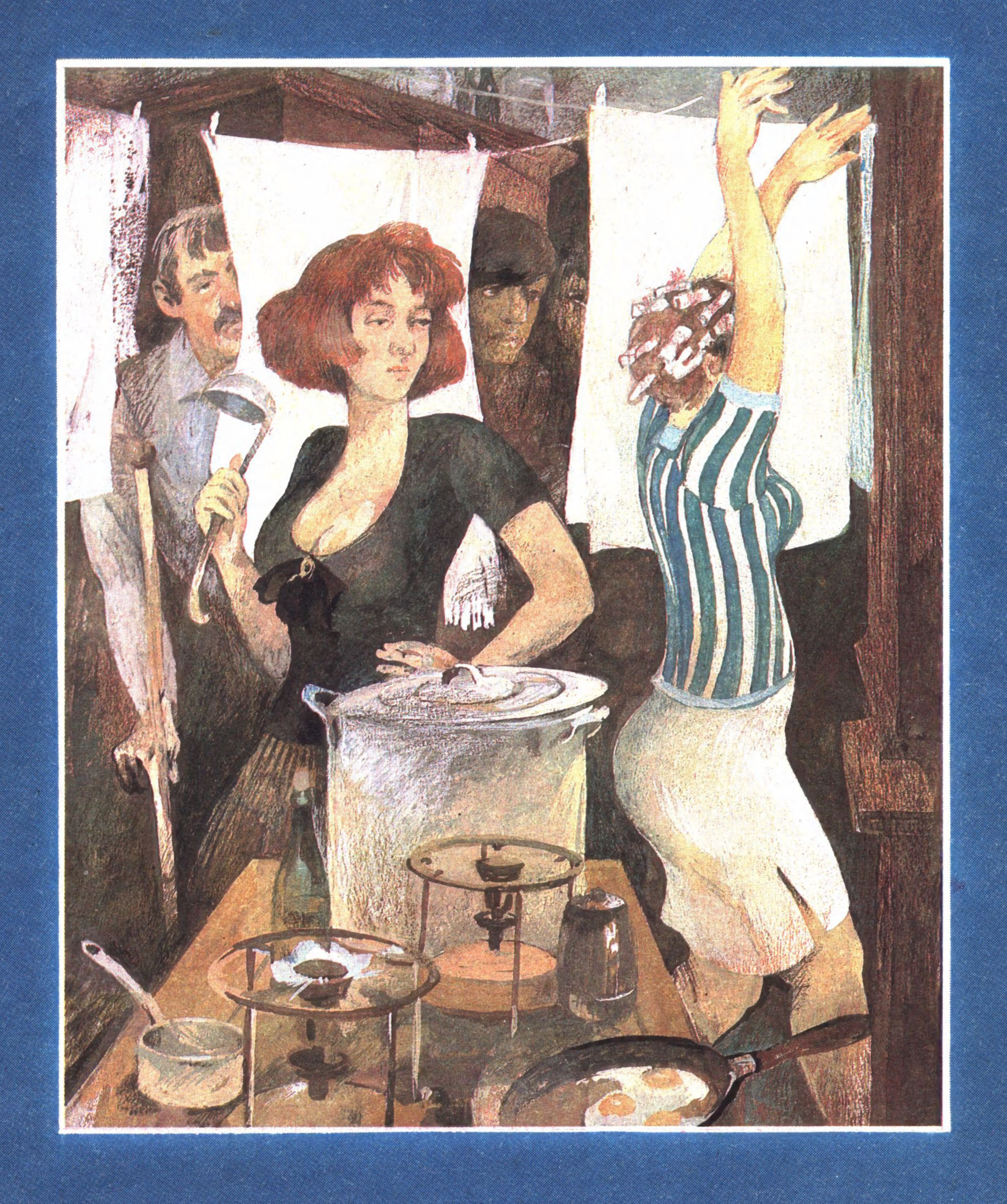
Мих. Зощенко
Рассказы



Мих. Зощенко

Рассказы

•



МОСКВА
«Художественная литература»
1987

ББК 84Р7
З-78

Составление

А. Н. СТАРКОВА

Оформление
А. РЕМЕННИКА

Иллюстрации на обложке

В. САФРОНОВА

З $\frac{4702010200-301}{028(01)-87}$ КБ-55-10-86

СОБАЧИЙ СЛУЧАЙ

Жил такой Вася Семечкин. Безработный. Уволили его по сокращению штатов, а он и в ус не дует.

— Пущай, говорит, буду-ка я человеком свободной профессии.

Стал он думать, чем ему промышлять, дровами или чем другим. Да случай вышел.

Проживал в четвертом номере всемирно ученый старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без хвоста жить. Одним словом — опыты.

Но однажды встретил всемирно ученый старичок Ваську во дворе и говорит ему:

— Нет ли у вас какой-нибудь собачки для ученых опытов? Я, говорит, за каждую собачку плачу трешку.

Обрадовался Васька. Сразу смекнул.

— Есть, говорит, вы угадали. Это, говорит, даже моя специальность — доставать опытных собачек. Пожалуйста. Завсегда ко мне обращайтесь.

Ударили они по рукам и разошлись.

Первая собачка пропала у управдома. Ужасно тогда грустил управдом. Накинул даже на квартиры и хотел на воду накинуть, да были перевыборы — поперли его.

Вторая собачка исчезла в седьмом номере. И такая это была паршивенькая собачка, болонка — глаз у ней красный, отвратительный, шерсть висячая. Омерзительная собачка. И кусачая к тому же. У Васьки до сих пор шрам на руке.

Третью собачку Васька поймал на улице. А там и пошло, и пошло.

Только раз всемирно ученый старичок сказал Ваське:

— Что ты, говорит, голубчик, мне все паршивеньких собак достаешь? Нынче я опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы под ножом.

И вот пошел Васька с утра пораньше такую собаку искать. Прошел четыре квартала — нету. По пути только маленькую сучку в мешок пихнул.

Идет по Карповке, смотрит: стоит у тумбы этакая значительная собачища и воздух нюхает.

Обрадовался Васька. И верно: особо фигурная собака, бока гладкие, хвост трубой и все время бодрится.

Подошел к ней Васька, хлеб сует.

— Собачка, собачка...

А она урчит и хвостом отмахивается. Начал Васька мешок развязывать, а она за руку его — тяп. И держит.

Васька рвется — не пущает. Народ стал собираться, публика. Вдруг кто-то и говорит:

— Братцы, да это уголовная собака Трефка.

Как услышал это Васька, упал с испугу. Мешок выронил. А из мешка сучка выпала.

— Ага!— закричал народ.— Да это, братцы, собачник. Хватай его!

Схватили Ваську и повели в милицию.

А после судили его. Оправдали все-таки. Во-первых — безработный, с голоду. Во-вторых — для науки.

— Впредь, сказали, не делай этого.

Стал с тех пор Васька дровами промышлять.

1923

НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ

Жил такой человек, Петр Петрович, с супругой своей, Катериной Васильевной. Жил он на Малой Охте. И жил хорошо. Богато. Хозяйство, и гардероб, и сундуки, полные добра... Было у него даже два самовара. А утюгов и не счесть — штук пятнадцать.

Но при всем таком богатстве жил человек скучновато. Сидел на своем добре, смотрел на свою супругу и никуда не показывался. Боялся из дома выходить, в смысле кражи. Даже в кинематограф не ходил. А то, думает, в его отсутствие разворуют вещички.

Ну а однажды получил Петр Петрович письмо по почте. Письмо секретное. Без подписи. Пишет кто-то:

«Эх, ты, пишет, старый хрен, степа — валеный сапог. Живешь ты с молодой супругой и не видишь, чего вокруг делается. Жена-то твоя, дурень старый, крутит с одним обывателем. Как я есть твой неизвестный друг и все такое, то сооб-

щаю: ежели ты, старый хрен, придешь в Сад трудящихся в семь часов вечера в субботу, двадцать девятого июля, то глазами удостоверишься, какая есть твоя супруга гулящая бабочка. Протри глаза, старый хрен. С глубоким почтением «Неизвестный друг».

Прочел это письмо Петр Петрович и обомлел. Стал вспоминать как и что. И вспомнил: получила Катерина Васильевна два письма, а от кого — не сказала. И вообще вела себя подозрительно: к мамаше зачастила и денег требовала на мелкие расходы.

«Ну клюква!— подумал Петр Петрович.— Пригрел я змею... Но ничего, не позволю над собой насмехаться. Выслежу, морду набью — и разговор весь».

В субботу, двадцать девятого июля, Петр Петрович сказался больным. Лег на диван и следит за супругой. А та — ничего, хозяйством занимается. Но к вечеру говорит:

— Мне, говорит, Петр Петрович, нужно к мамаше сходить. У меня, говорит, мамаша опасно захворала.

И сама нос пудрой, шляпку на затылок и пошла.

Петр Петрович поскорей оделся, взял в левую руку палку, надел калоши — и следом за женой.

Пришел в Сад трудящихся, воротничок поднял, чтоб не узнали, и ходит по дорожкам. Вдруг видит — у фонтана супруга сидит и в даль всматривается. Подошел.

— А, говорит, здравствуйте. Любовника ожидаете? Так-с, вам, говорит, Катерина Васильевна, морду набить мало...

Та в слезы.

— Ах, говорит, Петр Петрович, Петр Петрович! Не подумайте худого... Не хотела я вам говорить, но приходится...

И с этими словами вынимает она из рукава письмо.

А в письме, в печальных тонах, написано о том, что она, Катерина Васильевна, одна может спасти человека, который погибает и находится в жизни на краю пропасти. И этот человек умоляет прийти Катерину Васильевну в Сад трудящихся в субботу, двадцать девятого июля.

— Странно, говорит. Кто же пишет?

— Я не знаю,— отвечает Катерина Васильевна.— Я пожалела и пришла. А какой это человек — я не знаю.

— Так-с,— говорит Петр Петрович,— пришла. А ежели пришла, так и сиди и не двигайся. Я, говорит, за фонтан спрячусь. Посмотрю, что за фигура. Я, говорит, намну ему бока.

Спрятался Петр Петрович за фонтан и сидит. А супруга напротив — бледная и еле дышит. Час проходит — никого. Еще час — опять никого. Вылезает тогда Петр Петрович из-за фонтана.

— Ну, говорит, не хнычьте, Катерина Васильевна. Тут, безусловно, кто-нибудь подшутил над нами. Идемте домой, что ли... Нагулялись... Не ваш ли братец-подлец подшутил?

Покачала головой Катерина Васильевна.

— Нет, говорит, тут что-нибудь серьезное. Может, неизвестный человек испугался вас и не подошел.

Плюнул Петр Петрович, взял жену под руку и пошел.

И вот приезжают супруги домой. А дома — разгром. Сундуки и комоды разворочены, утюги раскиданы, самоваров нет — грабеж. А на стене булавкой пришпилена записка:

«Вас, чертей собачьих, иначе никаким каком из дома не вытащишь. Сидят, как сычи... А костюмчики твои, старый хрен, не по росту мне. Рост у тебя, старый хрен, паршивый и низенький. Это довольно подло с твоей стороны. А супруге твоей — наше нижайшее с кисточкой и с огурцом пятнадцать».

Прочли супруги записку, охнули, сели на пол и ревут, как маленькие.

1923

АГИТАТОР

Сторож авиационной школы Григорий Косоносов поехал в отпуск в деревню.

— Ну что ж, товарищ Косоносов,— говорили ему приятели перед отъездом,— поедете, так уж вы, того, поагитируйте в деревне-то. Скажите мужичкам: вот, мол, авиация развивается... Может, мужички на аэроплан сложатся.

— Это будьте уверены,— говорил Косоносов,— поагитирую. Что другое, а уж про авиацию, не беспокойтесь, скажу.

В деревню приехал Косоносов осенью и в первый же день приезда отправился в Совет.

— Вот,— сказал он,— желаю поагитировать. Как я есть приехадши из города, так нельзя ли собрание собрать?

— Что ж,— сказал председатель,— валяйте, завтра соберу мужичков.

На другой день председатель собрал мужичков у пожарного сарая.

Косоносов вышел к ним, поклонился и, с непривычки робея, начал говорить дрожащим голосом:

— Так вот, этого...— сказал Косоносов,— авиация, товарищи крестьяне... Как вы есть народ, конечно, темный, то, этого, про политику скажу... Тут, скажем, Германия, а тут Китай. Тут Россия, а тут... вообще...

— Это ты про что, милый?— не поняли мужички.

— Про что?— обиделся Косоносов.— Про авиацию я. Развивается, этого, авиация... Тут Россия, а тут Китай.

Мужички слушали мрачно.

— Не задёрживай!— крикнул кто-то сзади.

— Я не задёрживаю,— сказал Косоносов.— Я про авиацию... Развивается, товарищи крестьяне. Ничего не скажу против. Что есть, то есть. Не спорю...

— Непонятно!— крикнул председатель.— Вы, товарищ, ближе к массам...

Косоносов подошел ближе к толпе и, свернув козью ножку, снова начал:

— Так вот, этого, товарищи крестьяне... Строят еропланы и летают после. По воздуху то есть. Ну, иной, конечно, не удержится — бабахнет вниз. Как это летчик товарищ Ермилкин. Взлететь

взлетел, а там как бабахнет, аж кишки врозь...

— Не птица ведь,— сказали мужики.

— Я же и говорю,— обрадовался Косоносов поддержке,— известно — не птица. Птица — та упадет, ей хоть бы хрен — отряхнулась и дальше... А тут накось, выкуси... Другой тоже летчик, товарищ Михаил Иваныч Попков. Полетел, все честь честью, бац — в моторе порча... Как бабахнет...

— Ну?— спросили мужики.

— Ей-богу... А то один на деревья сверзился. И висит, что маленький. Испужался, блажит, умора... Разные бывают случаи... А то раз у нас корова под пропеллер сунулась. Раз-раз, чик-чик — и на кусочки. Где роги, а где вообще брюхо — разобрать невозможно... Собаки тоже, бывает, попадают.

— И лошади?— спросили мужики.— Неужто и лошади, родимый, попадают?

— И лошади,— сказал Косоносов.— Очень просто.

— Ишь черти, вред им в ухо,— сказал кто-то.— До чего додумались! Лошадей крошить... И что ж, милый, развивается это?

— Я же и говорю,— сказал Косоносов,— развивается, товарищи крестьяне... Вы, этого, соберитесь миром и жертвуйте.

— Это на что же, милый, жертвовать?— спросили мужики.

— На ероплан,— сказал Косоносов.

Мужики, мрачно посмеиваясь, стали расходиться.

1923

БАБА

Судья пристально смотрит на обвиняемых. Их двое — муж и жена. Самогонщики.

— Так как же,— спрашивает судья,— значит, вы, обвиняемый, не признаете себя виноватым?

— Нету,— говорит подсудимый,— не признаю... Она во всем виновата. Она пущай и расплачивается. Я ничего не знаю про это...

— Позвольте,— удивляется судья,— как же так? Вы живете с женой в одной квартире и ничего не знаете. Не знаете даже, чем занимается ваша жена.

— Не знаю, гражданин судья... Она во всем...

— Странно,— говорит судья.— Подсудимая, что вы скажете?

— Верно уж, начальник судья, верно... Я во всем виновата... Меня и казните... Он не касается...

— Гражданка,— говорит судья,— если вы хотите выгородить своего мужа, то напрасно. Суд все равно разберет... Вы только задерживаете дело... Вы сами посудите: не могу же я вам поверить, что муж живет в одной квартире и ничего не знает... Что, вы не живете с ним, что ли?

Подсудимая молчит. Муж радостно кивает головой.

— Не живу я с ней,— говорит он,— вот именно: не живу. Некоторые думают, что я живу, а я нет... Она во всем виновата...

— Верно это? — спрашивает судья у подсудимой.

— Уж верно... Меня одну казните, он не причастен.

— Вот как? — говорит судья.— Не живете... Что ж вы, характером не сошлись?

Подсудимый кивает головой.

— Характером, гражданин судья, и вообще... Она и старше меня, и...

— То есть как это старше? — спрашивает подсудимая.— Ровесники мы с ним, гражданин судья... На месяц-то всего я и старше.

— Это верно,— говорит подсудимый,— на месяц только... Это она правильно, гражданин судья... Ну, а для бабы каждый месяц, что год... В сорок-то лет...

— И нету сорока. Врет он, гражданин судья.

— Ну хоть и нету, а для бабы и тридцать девять — возраст. И волос все-таки седой к сорока-то, и вообще...

— Что вообще? — возмущается подсудимая.— Ты договаривай! Нечего меня перед народом срамить. Что вообще?

Судья улыбается.

— Ничего, Марусечка... Я только так. Я говорю — вообще... и кожа уж не та, и морщинки, ежели, скажем, в сорок-то лет... Не живу я с ней, гражданин судья...

— Ах, вот как! — кричит подсудимая.— Кожа тебе не по скусу? Морщинки тебе, морда собачья, не ндравятся? Перед народом меня срамить выдумал... Врет он, граждане судьи! Живет он со мной, сукин сын. Живет. И самогонный аппарат сам покупал... Я ж для него, для сукиного сына, кровь порчу, спасаю его, а он вот что. Срамить... Пущай вместе казнят...

Подсудимая плачет, громко сморкаясь в платок. Подсудимый оторопело смотрит на жену. Потом с отчаянием машет рукой.

— Баба, баба и есть, чертова баба... Пущай уж, гражданин судья... Я тоже... И я виновный. Пущай уж... У-у, стерва...

Судья совещается с заседателями.

1923

БЕДА

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало — не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, думал, лошадь и клюкну тогда. Будьте покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

— Что ты, батюшка! — сказал он.— Я два года солому жрал — ожидал покупки. А тут накося — купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет... Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной — вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

— Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь ай нет?

— Лошадь-то? — небрежно спросил торговец.— Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

— Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь... А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

— Продается, значится... лошадь-то?

— Можно продать,— сказал торговец, несколько обижаясь.

— Так... А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг. Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь — торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

— Бери уж, ладно,— сказал торговец.— Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

— Цвет-то... Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету,— сказал Егор Иваныч.— Неинтересный цвет... Сбавь немного.

— А на что тебе цвет? — сказал торговец.— Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

— Пущай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:

— Ваша лошадь... Ведите...

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

— Купил!.. Лошадь-то... Мать честная... Опутал его... Торговца-то...

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия... Хоть бы мне землячка встретить»,— подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

— Кум! — закричал Егор Иваныч.— Кум, поди-кось поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

— Вот... Лошадь я, этово, купил! — сказал Егор Иваныч.

— Лошадь,— сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил:— Стало быть, не было у тебя лошади?

— В том-то и дело, милый,— сказал Егор Иваныч,— не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться... Пойдем, я желаю тебя угостить.

— Вспрыснуть, значит? — спросил земляк, улыбаясь.— Можно. Что можно, то можно... В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

— Ты не горюй,— говорил мужик.— Не было у тебя лошади, да и эта не лошадь. Ну, пропил — эка штука. Зато, браток, вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иваныч шел молча, сплевывая длинную желтую слюну.

И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иваныч сказал тихо:

— А я, милый, два года солому лопал... зря...

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

— Стой! — закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом.— Стой! Дядя... милый!

— Чего надо? — строго спросил мужик.

— Дядя... милый... братишка,— сказал Егор Иваныч, моргая ресницами.— Как же это? Два года ведь солому зря лопал... За какое самое... За какое самое это... вином торгуют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

1923

ЖЕРТВА РЕВОЛЮЦИИ

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд, ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

— Заживают,— с сокрушением сказал Ефим Григорьевич.— Ничего не поделаешь — седьмой год все-таки пошел.

— А что это? — спросил я.

— Это? — сказал Ефим Григорьевич.— Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут... Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой — я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

— Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив — я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

— Нет.

— Ну так вот... У этого графа я и служил. В полотерах... Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать — только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

— Иди, говорит, кличут. У графа, говорит, кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу — и к ним.

Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.

Гляжу — сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

— Ах, говорит, Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

— Что вы, говорю, что вы, бывшая графиня! На что, говорю, мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, говорю. Извините за выражение.

А она рыдает.

— Нет, говорит, не иначе как вы сперли, комсикомса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

— Я, говорит, чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, говорит, это дело я так не оставлю. Руки, говорит, свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, говорит, отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два — пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг — на пятый день — как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы энто, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

— Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я — и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит... Ну ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

— Чего тут происходит?

— А это,—говорят,—мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я — ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:

— В кувшинчике, кричу, часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, думаю, есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

— Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит,—тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод — хозяйский.

1923

АРИСТОКРАТКА

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фильдекосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб

золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, говорю, ты, гражданка? Из какого номера?

— Я, говорит, из седьмого.

— Пожалуйста, говорю, живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?

— Да, отвечает, действуют.

И сама кутается в байковый платок, и ни мурмур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, говорю, действует ли тут водопровод?

— Не знаю, говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается.

Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, говорит, мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, говорю, взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, говорю, к чертовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?

А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, говорит, за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, говорю, за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, отвечает, хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан и пальцем смято.

— Как, говорю, надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты.

Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось,— народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, говорю, гражданка. Заплачено.

А дама не двигается. И конфузится докушивать.

А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, говорит, я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездют с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

1923

ЖЕНИХ

На днях женился Егорка Басов. Взял он бабу себе здоровую, мордастую, пудов на пять весом. Вообще, повезло человеку.

Перед тем Егорка Басов три года ходил вдовцом — никто не шел за него. А сватался Егорка чуть не к каждой. Даже к хромой солдатке из местечка. Да дело расстроилось из-за пустяков.

Об этом сватовстве Егорка Басов любил поговорить. При этом врал он неимоверно, всякий раз сообщая все новые и удивительные подробности.

Все мужики наизусть знали эту историю, но при всяком удобном случае упрашивали Егорку рассказать сначала, заранее давясь от смеха.

— Так как же ты, Егорка, сватался-то?— спрашивали мужики, подмигивая.

— Да так уж,—говорил Егорка,—обмишурился.

— Заторопился, что ли?

— Заторопился,—говорит Егорка.—Время было, конечно, горячее — тут и косить, тут и носить, и хлеб собирать. А тут, братцы мои, помирает моя баба. Сегодня она, скажем, свалилась, а завтре ей хуже. Мечется, и бредит, и с печки падает.

— Ну,— говорю я ей,— спасибо, Катерина Васильевна, без ножа вы меня режете. Не вовремя помирать решили. Потерпите, говорю, до осени, а осенью помирайте.

А она отмахивается.

Ну, позвал я, конечно, лекаря. За пуд овса. Лекарь пересыпал овес в свой мешок и говорит:

— Медицина, говорит, бессильна что-либо предпринять. Не иначе как помирает ваша бабочка.

— От какой же, спрашиваю, болезни? Извините за нескромный вопрос.

— Это, говорит, медицине опять-таки неизвестно.

Дал все-таки лекарь порошки и уехал.

Положили мы порошки за образа — не помогает. Брендит баба, и мечется, и с печки падает. И к ночи помирает.

Взвыл я, конечно. Время, думаю, горячее — тут и носить, тут и косить, а без бабы немыслимо. Чего делать — неизвестно. А ежели, например, жениться, то опять-таки на ком это жениться? Которая, может, и пошла бы, да неловко ей наспех. А мне требуется наспех.

Заложил я лошадь, надел новые штаны, ноги вымыл и поехал.

Приезжаю в местечко. Хожу по знакомым.

— Время, говорю, горячее, разговаривать много не приходится, нет ли, говорю, среди вас какой ни на есть захудалой бабочки, хотя бы слепенькой. Интересуюсь, говорю, женитьбой.

— Есть, говорят, конечно, но время горячее, браком никто не интересуется. Сходите, говорят, к Анисье, к солдатке, может, ту обломаете.

Вот я и пошел.

Прихожу. Смотрю — сидит на сундуке баба и ногу чешет.

— Здравствуйте, говорю. Перестаньте, говорю, чесать ногу — дело есть.

— Это, отвечает, одно другому не мешает.

— Ну, говорю, время горячее, спорить с вами много не приходится, вы да я — нас двое, третьего не требуется, окрутимся, говорю, и завтра выходите на работу снопы вязать.

— Можно, говорит, если вы мной интересуетесь.

Посмотрел я на нее. Вижу — бабочка ничего, что надо, плотная, и работать может.

— Да, говорю, интересуюсь, конечно. Но, говорю, ответьте мне, все равно как на анкету, сколько вам лет от роду?

— А лет, отвечает, не так много, как кажется. Лета мои не считаны. А год рождения, сказать— не соврать, одна тыща восемьсот восемьдесят шестой.

— Ну, говорю, время горячее, долго считать не приходится. Ежели не врете, то ладно.

— Нет, говорит, не вру, за вранье бог накажет. Собираться, что ли?

— Да, говорю, собирайтесь. А много ли имеете вещичек?

— Вещичек, говорит, не так много: дыра в кармане да вошь на аркане. Сундучок да перина.

Взяли мы сундучок и перину на телегу. Прихватил я еще горшок и два полена, и поехали.

Я гоню лошадь, тороплюсь, а бабочка моя на сундучке трясется и планы решает — как жить будет, да чего ей стряпать, да не мешало бы, дескать, в баньку сходить — три года не хожено.

Наконец приехали.

— Вылезайте, говорю.

Вылезает бабочка с телеги. Да смотрю, как-то неинтересно вылезает — боком и вроде бы хромает на обе ноги. Фу-ты, думаю, глупость какая!

— Что вы, говорю, бабочка, вроде бы хромаете?

— Да нет, говорит, это я так, кокетничаю.

— Да как же, помилуйте, так? Дело это серьезное, ежели хромаете. Мне, говорю, в хозяйстве хромать не требуется.

— Да нет, говорит, это маленько на левую ногу. Полвершка, говорит, всего и нехватка.

— Пол, говорю, вершка или вершок — это, говорю, не речь. Время, говорю, горячее — мерить не приходится. Но, говорю, это немыслимо. Это и воду понесете — расплескаете. Извините, говорю, обмишурился.

— Нет, говорит, дело заметано.

— Нет, говорю, не могу. Все, говорю, подходит: и мордоворот ваш мне нравится, и лета — одна тыща восемьсот восемьдесят шесть, но не могу. Извините — промигал ногу.

Стала тут бабочка кричать и чертыхаться, драться, конечно, полезла, не без того. А я тем временем выношу полегоньку имущество на двор.

Съездила она меня раз или два по морде — не считал, а после и говорит:

— Ну, говорит, стручок, твое счастье, что заметил. Вези, говорит, назад.

Сели мы в телегу и поехали.

Только не доехали, может, семи верст, как взяла меня ужасная злоба.

«Время, думаю, горячее, разговаривать много не приходится, а тут извольте развозить невест по домам».

Скинул я с телеги ейное имущество и гляжу, что будет. А бабочка не усидела и за имуществом спрыгнула. А я повернул кобылку — и к лесу.

А на этом дело кончилось.

Как она дошла домой с сундуком и с периной, мне неизвестно. А только дошла. И через год замуж вышла. И теперь на сносях.

1923

СОБАЧИЙ НЮХ

У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.

Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли, шубы.

— Шуба-то, говорит, больно хороша, граждане. Жалко. Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.

И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Является этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. Этакая даже собачища — коричневая, морда острая и несимпатичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал «пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом (народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номера, подходит и нюхает подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. Бабка в сторону — и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не пущает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.

— Да, говорит, попалась. Не отпираюсь. И, говорит, пять ведер закваски — это так. И аппарат — это действительно верно. Все, говорит, находится в ванной комнате. Ведите меня в милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.

— А шуба?— спрашивают.

— Про шубу, говорит, ничего не знаю и ведать не ведаю, а остальное — это так. Ведите меня, казните.

Ну, увели бабку.

Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, сказал «пс» и отошел.

Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к гражданину управдому подходит.

Побелел управдом, упал навзничь.

— Вяжите, говорит, меня, люди добрые, сознательные граждане. Я, говорит, за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. И теребит его за штаны.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.

— Виноват, говорит, виноват. Я, говорит, это верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, говорит, жеребцу, в армии служить и защищать отечество, а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энергией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.

«Что, думает, за такая поразительная собака?»

А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, вынул деньги и подает их агенту.

— Уводи, говорит, свою собачищу к свиньям собачьим. Пущай, говорит, пропадает енотовая шуба. Пес с ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

— Ну, говорит, бог правду видит, если так. Я, говорит, и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, говорит, братцы, не моя. Шубу-то, говорит, я у брата своего зажилил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух некогда нюхать, схватила она двоих или троих — кто подвернулся — и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты проиграл, другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только собака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой.

— Кусайте, говорит, меня, гражданка. Я, говорит, на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше — неизвестно. Я от греха поскорее смылся.

1924

ЛЮБОВЬ

Вечеринка кончилась поздно.

Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распорядительским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и говорил умоляющим тоном:

— Обождите, радость моя... Обождите первого трамвая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то можно, и обождать, и все такое, а вы идете... Обождите первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспотевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать можно по морозу...

— Нет,—сказала Машенька, надевая калоши.—И какой вы кавалер, который даму не может по морозу проводить?

— Так я вспотевши же,—говорил Вася, чуть не плача.

— Ну одевайтесь!

Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой на улицу, крепко взяв ее под руку.

Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег.

— Ах, какая вы неспокойная дамочка,—сказал Вася Чесноков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль.—Не будь вы, а другая—ни за что бы не пошел провожать. Вот ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел.

Машенька засмеялась.

— Вот вы смеетесь и зубки скалите,—сказал Вася,—а я действительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на рельсы, и лежите до первого трамвая — и лягу. Ей-богу...

— Да бросьте вы,—сказала Машенька,— посмотрите лучше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой красивый город по ночам! Какая чудная красота!

— Да, замечательная красота,—сказал Вася, глядя с некоторым изумлением на облупленную штукатурку дома.—Действительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья Васильевна, действует, ежели действительно питаешь чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу питать к вам чувства до самой моей смерти и до самопожертвования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, затылком об тую стенку — ударюсь.

— Ну, поехали,— сказала Машенька не без удовольствия.

— Ей-богу, ударюсь. Желаете?

Парочка вышла на Крюков канал.

— Ей-богу,— снова сказал Вася,—хотите вот — брошусь в канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу доказать...

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет.

— Ах!—закричала Машенька.—Вася! Что вы!

Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и остановилась у фонаря.

— Чего разорались?— тихо сказала фигура, подробно осматривая парочку.

Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке.

Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за рукав.

— Ну ты, мымра,—сказал человек глухим голосом.—Скидавай пальто. Да живо. А пикнешь — стукну по балде, и нету тебя. Понял, сволочь? Скидавай!

— Па-па-па,— сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, как же так?

— Ну!— человек потянул за борт шубы.

Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял.

— И сапоги тоже сымай!— сказал человек.— Мне и сапоги требуются.

— Па-па-па,— сказал Вася,—позвольте... мороз...

— Ну!

— Даму не трогаете, а меня — сапоги снимай,—проговорил Вася обидчивым тоном,—у ей и шуба, и калоши, а я сапоги снимай.

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал:

— С ее снимешь, понесешь узлом — и засыпался. Знаю, что делаю. Снял?

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботинки.

— У ей и шуба,—снова сказал Вася,— и калоши, а я отдувайся за всех...

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в карманы и сказал:

— Сиди и не двигайся и зубами не колоти. А ежели крикнешь или двинешься — пропал. Понял, сволочь? И ты, дамочка...

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез.

Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием посматривая на свои ноги в белых носках.

— Дождались,—сказал он, со злобой взглянув на Машеньку.—Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да?

Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, пронзительным голосом:

— Караул! Грабят!

Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе подпрыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.

1924

ХОЗРАСЧЕТ

На праздниках бухгалтер Горюшкин устроил у себя званый обед. Приглашенных было немного.

Хозяин с каким-то радостным воплем встречал гостей в прихожей, помогал снимать шубы и волочил приглашенных в гостиную.

— Вот,—говорил он, представляя гостя своей жене,—вот мой лучший друг и сослуживец.

Потом, показывая на своего сына, говорил:

— А это, обратите внимание, балбес мой... Лешка. Развитая бестия, я вам доложу.

Лешка высовывал свой язык, и гость, слегка сконфуженный, присаживался к столу.

Когда собрались все, хозяин, с несколько торжественным видом, пригласил к столу.

— Присаживайтесь,—говорил он радушно.— Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень рад... Угощайтесь.

Гости дружно застучали ложками.

— Да-с,—после некоторого молчания сказал хозяин,—все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись — кусается. Червонец скачет, цены скачут.

— Приступу нет,—сказала жена, печально глотая суп.

— Ей-богу,—сказал хозяин,—прямо-таки нету приступу. Вот возьмите такой пустяк — суп. Дрянь. Ерунда. Вода вроде бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоит?

— М-да,—неопределенно сказали гости.

— В самом деле,—сказал хозяин.—Возьмите другое — соль. Дрянь продукт, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоит.

— Да-а,—сказал балбес Лешка, гримасничая,—другой гость как начнет солить, тык тока держись.

Молодой человек в пенсне, перед тем посоливший суп, испуганно отодвинул солонку от своего прибора.

— Солите, солите, батюшка,—сказала хозяйка, придвигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяин со вкусом ел суп, добродушно поглядывая на своих гостей.

— А вот и второе подали,— объявил он оживленно.—Вот, господа, возьмите второе — мясо. А теперь позвольте спросить, какая цена этому мясу? Нуте-ка? Сколько тут фунтов?

— Четыре пять осьмых,—грустно сообщила жена.

— Будем считать пять для ровного счету,— сказал хозяин.—Нуте-ка, по полтиннику золотом? Это, это на человека придется... Сколько нас человек?..

— Восемь,—подсчитал Лешка.

— Восемь,— сказал хозяин.—По полфунта... По четвертаку с носа минимум.

— Да-а,—обиженно сказал Лешка,—другой гость мясо с горчицей жрет.

— В самом деле,—вскричал хозяин, добродушно засмеявшись,—я и забыл — горчица... Нуте-ка, прикиньте к общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набежит...

— Да-а, по рублю,—сказал Лешка,—а небось, когда Пал Елисеевич локтем стеклище выпер, тык небось набежало...

— Ах да!— вскричал хозяин.—Приходят, представьте себе, к нам раз гости, а один, разумеется нечаянно, выбивает зеркальное стекло. Обошелся нам тогда обед. Мы нарочно подсчитали.

Хозяин углубился в воспоминания.

— А впрочем,—сказал он,—и этот обед вскочит в копеечку. Да это можно подсчитать.

Он взял карандаш и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съеденное. Гости сидели тихо, не двигаясь, только молодой человек, неосторожно посоливший суп, поминутно снимал запотевшее пенсне и обтирал его салфеткой.

— Да-с,— сказал наконец хозяин,—рублей по пяти с хвостиком...

— А электричество?— возмущенно сказала хозяйка.—А отопление? А Марье за услуги?

Хозяин всплеснул руками и, хлопнув себя по лбу, засмеялся.

— В самом деле,—сказал он,—электричество, отопление, услуги... А помещение? Позвольте, господа, в самом деле, помещение! Нуте-ка — восемь человек, четыре квадратные сажени... По девяносто копеек за сажень... В день, значит, три копейки... Гм... Это нужно на бумаге...

Молодой человек в пенсне заерзал на стуле и вдруг пошел в прихожую.

— Куда же вы?— закричал хозяин.—Куда же вы, голубчик, Иван Семенович?

Гость ничего не сказал и, надев чьи-то чужие калоши, вышел не прощаясь. Вслед за ним стали расходиться и остальные.

Хозяин долго еще сидел за столом с карандашом в руках, потом объявил:

— По одной пятой копейки золотом с носа.

Объявил он это жене и Лешке — гостей не было.

1924

ПАУТИНА

Вот говорят, что деньги сильней всего на свете. Вздор. Ерунда.

Капиталисты для самообольщения все это выдумали.

Есть на свете кое-что покрепче денег.

Двумя словами об этом не рассказать. Тут целый рассказ требуется.

Извольте рассказ.

Высокой квалификации токарь по металлу, Иван Борисович Левонидов, рассказал мне его.

— Да, дорогой товарищ,—сказал Левонидов,—такие дела на свете делаются, что только в книгу записывай.

Появился у нас на заводе любимчик — Егорка Драпов. Человек он арапистый. Усишки белокурые. Взгляд этакий вредный. И нос вроде перламутровой пуговицы.

А карьеру между тем делает. По службе повышается, на легкую работу назначается и жалованье получает по высшему разряду.

Мастер с ним за ручку. А раз даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастер пощекотал его пальцами и с уважением таким ему улыбнулся.

Стали рабочие думать что и почему. И за какие личные качества повышается человек.

Думали, гадали, но не разгадали и пошли к инженеру Фирсу.

— Вот, говорим, любезный отец, просим покорнейше одернуть зарвавшегося мастера. Пущай не повышает своего любимца Егорку Драпова. И пальцем пущай не щекотит, проходя мимо.

Сначала инженер, конечно, испугался — думал, что его хотят выводить на свежую воду, но после обрадовался.

— Будьте, говорит, товарищи, благонадежны. Зарвавшегося мастера одерну, а Егорку Драпова в другое отделение переведу.

Проходит между тем месяц. Погода стоит отличная. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А любимчик — Егорка Драпов — карьеру между тем делает все более заманчивую.

И не только теперь мастер, а и сам любимый спец с ним похохатывает и ручку ему жмет.

Ахнули рабочие. И я ахнул.

«Неужели же, думаем, правды на земле нету? Ведь за какие же это данные повышается человек и пальцами щекотится мастером?»

Пошли мы небольшой группой к красному директору Ивану Павловичу.

— Вы, говорим, который этот и тому подобное. Да за что же, говорим, такая несообразность?

А красный директор, нахмурившись, отвечает:

— Я, говорит, который этот и тому подобное. Я, говорит, мастера и спеца возьму под ноготь, а Егорку Драпова распушу, как собачий хвост. Идите себе, братцы, не понижайте производительность.

И проходит месяц — Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду. Балуют его и милуют и ручку со всех сторон наперерыв ему жмут. И директор жмет, и спец жмет, и сам мастер, проходя мимо, щекотит Егорку Драпова.

Взвыли тут рабочие, пошли всей гурьбой к рабкору Настину. Плачутся:

— Рабкор ты наш, золото, драгоценная головушка. Ругали мы тебя, и матюкали, и язвой называли: мол, жалобы зачем в газету пишешь. А теперича, извините и простите... Выводите Егорку Драпова на свежую воду.

— Ладно,— сказал Настин.— Это мы можем, сейчас поможем. Дайте только маленечко сроку, погляжу, что и как и почему человек повышается. Хвост ему накручу — будьте покойны.

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. Птички по воздуху порхают и бабочки крутятся.

А Егорка Драпов цветет жасмином и даже пестрой астрой распущается.

И даже рабкор Настин, проходя однажды ми-

мо, пощекотал Егорку и дружески ему так улыбнулся.

Собрались тут рабочие обсуждать. Говорили, говорили — языки распухли, а к результату не пришли.

И тут я, конечно, встреваю в разговор.

— Братцы, говорю, я, говорю, первый гадюку открыл, я ее и закопаю. Дайте срок.

И вдруг на другой день захожу я в Егоркино отделение и незаметно становлюсь за дверь. И вижу. Мастер домой собирается, а Егорка Драпов крутится перед ним мелким бесом и вроде как тужурку подает.

— Не застудитесь, говорит, Иван Саввич. Погодка-то, говорит, страсть неблагоприятная.

А мастер Егорку по плечу стукает и хохочет.

— А и любишь, говорит, ты меня, Егорка, сукин сын.

А Егорка Драпов почтительно докладывает:

— Вы, говорит, мне, Иван Саввич, вроде как отец родной. И мастер, говорит, вы отличный. И личностью, говорит, очень, говорит, вы мне покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиков не было.

А мастер пожал Егоркину ручку и пошел себе.

Только я хотел из-за двери выйти, шаг шагнул — рабкор Настин прется.

— А, говорит, Егорушка, друг ситный! Я, говорит, знаешь ли, такую давеча заметку написал — ай-люли.

А Егорка Драпов смеется.

— Да уж, говорит, ты богато пишешь. Пушкин, говорит, и Гоголь дерьмо против тебя.

— Ну спасибо,—говорит рабкор,—век тебе не забуду. Хочешь, тую заметку прочту?

— Да чего ее читать,—говорит Егорка,— я, говорит, и так, без чтения в восхищении.

Пожали они друг другу ручки и вышли вместе. А я следом.

Навстречу красный директор прется.

— А, говорит, Егорка Драпов, наше вам... Ну-ка, говорит, погляди теперича, какие у меня мускулы.

И директор рукав свой засучил и показывает Егорке мускулы.

Нажал Егорка пальцем на мускулы.

— Ого, говорит, прибавилось.

— Ну спасибо,—говорит директор,—спасибо тебе, Егорка.

Тут оба-два — директор и рабкор — попрощались с Егоркой и разошлись.

Догоняю я Егорку на улице, беру его, подлеца, за руку и отвечаю:

— Так, говорю, любезный. Вот, говорю, какие паутины вы строите.

А Егорка Драпов берет меня под руку и хохочет.

— Да брось, говорит, милый... Охота тебе... Лучше расскажи, как живешь и как сынишка процветает.

— Дочка, говорю, у меня, Егорка. Не сын. Отличная, говорю, дочка. Бегает...

— Люблю дочек,—говорит Егорка.—Завсегда, говорит, любуюсь на них и игрушки им жертвую...

И проходит месяц. Ветры дуют южные. И наводнения не предвидится. А Егорка Драпов цветет, как маков цвет или, скажем, хризантема в саду.

А вчера, проходя мимо, пощекотал я Егорку Драпова.

Черт с ним. Хоть, думаю, и подлец, а приятный человек.

Полюбил я Егорку Драпова.

1924

ДИКТОФОН

Ах, до чего все-таки американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы «Жиллет», вращение Земли вокруг своей оси — все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество — подарили американцы миру особую машину — диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что, а именно в 1920 году.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралось посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению.

Ах, Америка, Америка — какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

— Кто из вас,—сказал Константин Иванович,—желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

— Дозвольте, говорит, мне испробовать.

Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но ничего не придумал и, махнув рукой, отошел от машины, искренно горюя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор:

— Эй ты, чертова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует — и что же?— доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.

Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца — отчаянного ругателя и буяна.

Черноморец не заставил себя ждать — явился.

— Куда, спрашивает, ругаться? В какое отверстие?

Ну указали ему, конечно. А он как загнет, как загнет, аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел — дескать, здорово пущено, это вам не Америка.

Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валик. И действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись.

Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстия на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки: хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком — машина действовала безотлагательно.

Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение.

Единственно только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и не приспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана, и, конечно, не в трубу, а, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела — и что же?— оказалось, что машинка испортилась, сдала.

С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются.

Впрочем, заслуга ихняя все же велика и значительна перед лицом человечества.

1924

СЧАСТЬЕ

Иной раз хочется подойти к незнакомому человеку и спросить: ну, как, братишка, живешь? Доволен ли ты своей жизнью? Было ли в твоей жизни счастье? Ну-ка, окинь взглядом все прожитое.

С тех пор как открылся у меня катар желудка, я у многих об этом спрашиваю.

Иные шуточкой на это отделываются — дескать, живу — хлеб жую. Иные врать начинают — дескать, живу роскошно, лучше не надо, получаю по шестому разряду, семьей доволен.

И только один человек ответил мне на этот вопрос серьезно и обстоятельно. А ответил мне дорогой мой приятель, Иван Фомич Тестов. По профессии он стекольщик. Человек сам немудреный. И с бородой.

— Счастье-то?— спросил он меня.—А как же, обязательно счастье было.

— Ну, и что же,—спросил я,—большое счастье было?

— Да уж большое оно или оно маленькое — неизвестно, а только оно на всю жизнь запомнилось.

Иван Фомич выкурил две папиросы, собрался с мыслями, подмигнул мне для чего-то и стал рассказывать.

— А было это, дорогой товарищ, лет, может, двадцать или двадцать пять назад. И был я тогда красивый и молодой, усики носил стоячие и нравился себе. И все, знаете ли, ждал, когда мне счастье привалит. А года между тем шли своим чередом, и ничего такого не происходило. Не заметил я, как и женился, и как на свадьбе с жениными родственниками подрался, и как жена после того дите родила. И как жена в свое время скончалась. И как дите тоже скончалось. Все шло тихо и гладко. И особенного счастья в этом не было.

Ну а раз, 27 ноября, вышел я на работу, а после работы под вечер зашел в трактир и спросил себе чаю.

Сижу и пью с блюдечка. И думаю: вот, дескать, года идут своим чередом, а счастья-то и незаметно.

И только я так подумал — слышу разные возгласы. Оборачиваюсь — хозяин машет рукой, и половой мальчишка машет рукой, а перед ними царский солдат стоит и пытается к столику присесть. А его хозяин из-за столика выбивает и не дозволяет сесть.

— Нету, кричит, вашему брату солдату не дозволено в трактирах за столики присаживать. Мне за его штраф плати. Ступай себе, милый.

А солдат пьяный и все присаживается. А хозяин его выбивает. А солдат родителей вспоминает.

— Я, кричит, такой же, как и вы! Желаю за столик присесть.

Ну, посетители помогли — выперли солдата. А солдат схватил булыжник с мостовой и как брызнет в зеркальное стекло. И тёку.

А стекло зеркальное — четыре на три, и цены ему нету.

У хозяина руки и ноги подкосились. Присел он на корячки, головой мотает и пугается на окно взглянуть.

— Что ж это, кричит, граждане? Разорил меня солдат. Сегодня суббота, завтра воскресенье— два дня без стекла. Стекольщика враз не найти, и без стекла посетители обижаются.

А посетители, действительно, обижаются:

— Дует, говорят, из пробитого отверстия. Мы пришли в тепле посидеть, а тут эвон дыра какая.

Вдруг я кладу блюдечко на стол, закрываю шапкою чайник, чтоб он не простыл, и равнодушно подхожу к хозяину.

— Я, говорю, любезный коммерсант, стекольщик.

Ну, обрадовался он, пересчитал в кассе деньги и спрашивает:

— А сколько эта музыка стоит? Нельзя ли из кусочков сладить?

— Нету, говорю, любезный коммерсант, из кусочков ничего не выйдет. Требуется полное стекло четыре на три. А цена тому зеркальному стеклу будет семьдесят пять целковых и бой мне. Це-

на, любезный коммерсант, вне конкуренции и без запроса.

— Что ты,— говорит хозяин,— объелся? Садись, говорит, обратно за столик и пей чай. За такую, говорит, сумму я лучше периной заткну отверстие.

И велит он хозяйке моментально бежать на квартиру и принести перину.

И вот приносят перину и затыкают. Но перина вываливается то наружу, то вовнутрь и вызывает смех. А некоторые посетители даже обижаются— дескать, темно и некрасиво чай пить.

А один, спасибо, встает и говорит:

— Я, говорит, на перину и дома могу глядеть, на что мне ваша перина?

Ну, хозяин снова подходит ко мне и умоляет моментально бежать за стеклом и дает деньги.

Чаю я не стал допивать, зажал деньги в руку и побежал.

Прибегаю в стекольный магазин — магазин закрывается. Умоляю и прошу — впустили.

И все, как я и думал, и даже лучше: стекло четыре на три тридцать пять рублей, за переноску — пять, итого сорок.

И вот стекло вставлено.

Допиваю я чай с сахаром, спрашиваю рыбную селянку, после — рататуй. Съедаю все и, шатаясь, выхожу из чайной. А в руке чистых тридцать рублей. Хочешь — на них пей, хочешь — на что хочешь.

Эх и пил же я тогда! Два месяца пил. И покупки, кроме того, сделал: серебряное кольцо и теплые стельки. Еще хотел купить брюки с блюзой, но не хватило денег.

— Вот, дорогой товарищ, как видите, и в моей жизни было счастьишко. Но только раз. А вся остальная жизнь текла ровно, и большого счастья не было.

Иван Фомич замолчал и снова, неизвестно для чего, подмигнул мне.

Я с завистью посмотрел на своего дорогого приятеля. В моей жизни такого счастья не было.

Впрочем, может, я не заметил.

1924

МЕДИК

Нынче, граждане, в народных судах все больше медиков судят. Один, видите ли, операцию погаными руками произвел, другой — с носа очки обронил в кишки и найти не может, третий — ланцет потерял во внутренностях или же не то отрезал, чего следует, какой-нибудь неопытной дамочке.

Все это не по-европейски. Все это круглое невежество. И судить таких врачей надо.

Но вот за что, товарищи, судить будут медика Егорыча? Конечно, высшего образования у него нету. Но и вины особой нету.

А заболел тут один мужичок. Фамилия — Рябов, профессия — ломовой извозчик. Лет от роду — тридцать семь. Беспартийный.

Мужик хороший — слов нету. Хотя и беспартийный, но в союзе состоит и ставку по третьему разряду получает.

Ну, заболел. Слег. Подумаешь, беда какая. Пухнет, видите ли, у него живот и дышать трудно. Ну, потерпи! Ну, бутылочку с горячей водой приложи к брюху — так нет. Испугался очень. Задрожал. И велит бабе своей, не жалеючи никаких денег, пригласить наилучшего знаменитого врача. А баба что? Баба всплакнула насчет денег, но спорить с больным не стала. Пригласила врача.

Является этакий долговязый медик с высшим образованием. Фамилия Воробейчик. Беспартийный.

Ну, осмотрел он живот. Пощупал чего следует и говорит:

— Ерунда, говорит. Зря, говорит, знаменитых врачей понапрасну беспокоите. Маленько объелся мужик через меру. Пущай, говорит, клистир ставит и курей кушает.

Сказал и ушел. Счастливо оставаться.

А мужик загрустил.

«Эх, думает, так его за ногу! Какие дамские рецепты ставит. Отец, думает, мой не знал легкие средства, и я знать не желаю. А курей пущай кушает международная буржуазия».

И вот погрустил мужик до вечера. А вечером велит бабе своей, не жалея никаких денег, пригласить знаменитого Егорыча с Малой Охты.

Баба, конечно, взгрустнула насчет денег, но спорить с больным не стала — поехала. Приглашает.

Тот, конечно, покобенился.

— Чего, говорит, я после знаменитых медиков туда и обратно ездить буду? Я человек без высшего образования, писать знаю плохо. Чего мне взад-вперед ездить?

Ну, покобенился, выговорил себе всякие льготы: сколько хлебом и сколько деньгами — и поехал.

Приехал. Здравствуйте.

Щупать руками желудок не стал.

— Наружный, говорит, желудок тут ни при чем. Все, говорит, дело во внутреннем. А внутренний щупай — болезнь от того не ослабнет. Только разбередить можно.

Расспросил он только, чего первый медик прописал и какие рецепты поставил, горько про себя усмехнулся и велит больному писать записку — дескать, я здоров, и папаша покойный здоров, во имя отца и святого духа.

И эту записку велит проглотить.

Выслушал мужик, намотал на ус.

«Ох, думает, так его за ногу! Ученье свет — неученье тьма. Говорило государство: учись — не учился. А как бы пригодилась теперь наука».

Покачал мужик бороденкой и говорит через зубы:

— Нету, говорит, не могу писать. Не обучен. Знаю только фамилие подписывать. Может, хватит?

— Нету,— отвечает Егорыч, нахмурившись и теребя усишки.— Нету. Одно фамилие не хватит. Фамилие, говорит, подписывать от грыжи хорошо, а от внутренней полная записка нужна.

— Чего же,— спрашивает мужик,— делать? Может, вы за меня напишете, потрудитесь?

— Я бы,— говорит Егорыч,— написал, да, говорит, очки на рояли забыл. Пущай кто-нибудь из родных и знакомых пишет.

Ладно. Позвали дворника Андрона.

Дворник даром что беспартийный, а спец: писать и подписывать может.

Пришел Андрон. Выговорил себе цену, попросил карандаш, сам сбегал за бумагой и стал писать.

Час или два писал, вспотел, но написал:

«Я здоров и папаша покойный здоров во имя отца и святого духа.

Дворник дома № 6. *Андрон*».

Написал. Подал мужику. Мужик глотал, глотал — проглотил.

А Егорыч тем временем попрощался со всеми любезно и отбыл, заявив, что за исход он не ручается — не сам больной писал.

А мужик повеселел, покушал даже, но к ночи все-таки помер.

А перед смертью рвало его сильно и в животе резало.

Ну, помер — рой землю, покупай гроб — так нет. Пожалела баба денег — пошла в союз жаловаться: дескать, нельзя ли с Егорыча деньги вернуть.

Денег с Егорыча не вернули — не таковский, но дело всплыло.

Разрезали мужика. И бумажку нашли. Развернули, прочитали, ахнули: дескать, подпись не та, дескать, подпись Андронова — и дело в суд. И суду доложили: подпись не та, бумажка обойная и размером для желудка велика — разбирайтесь!

А Егорыч заявил на следствии: «Я, братцы, ни при чем, не я писал, не я глотал и не я бумажку доставал. А что дворник Андрон подпись свою поставил, а не больного — недосмотрел я. Судите меня за недосмотр».

А Андрон доложил: «Я, говорит, два часа писал и запарился. И, запарившись, свою фамилию написал. Я, говорит, и есть убийца. Прошу снисхождения».

Теперь Егорыча с Андроном судить будут. Неужели же засудят?

1924

ПАЦИЕНТКА

В сельскую больницу Пелагея приехала за тридцать верст.

Выехала на рассвете и в полдень остановилась у белого одноэтажного дома.

— Хирург-то принимает?— спросила она мужика, сидящего на крыльце.

— Хирург-то?—с интересом спросил мужик.— А ты не больна ли будешь? Животом, что ли?

— Больна,—ответила Пелагея.

— Я, милая, тоже больной,—сказал мужик.— Пшеном объелся... Седьмым записан.

Пелагея привязала лошадь к плетню и вошла в больницу.

Больных принимал фельдшер Иван Кузьмич. Был он маленький, старенький и ужасно знаменитый. Все вокруг знали его, хвалили и называли без причины хирургом.

Пелагея вошла к нему в комнату, низко поклонилась и присела на край стула.

— Больна, что ли?—спросил Иван Кузьмич.

— Больна я,—сказала Пелагея.—То есть вся насквозь больная. Каждая косточка ноет и трясется. Сердце гниет заживо.

— С чего бы это?— равнодушно спросил фельдшер.—С каких пор?

— С осени, Иван Кузьмич. С самой осени. Осенью я заболела. Как, знаете ли, супруг Димитрий Наумыч приехал из города, так я и заболела. Я стою, например, возле стола и лепешки в муке валяю. Димитрий Наумыч любил эти самые лепешки. Где-то, думаю, он теперь, Димитрий Наумыч-то? В городе он советский депутат...

— Позволь, бабонька,—сказал фельдшер,— ври, да не завирайся. Чем больна-то?

— Да я ж и говорю,—сказала Пелагея,— стою возле стола, кручу лепешки... Вдруг тетка Агафья, что баран, прибегает и рукой машет. «Иди, кричит, Пелагеюшка, иди поскорей. Твой-то никак приехал из города и идет будто по улице с мешком и с палкой». Зашлось у меня сердце. Подкосились ноги. Стою дурой и лепешку мну... Бросила после лепешки, выбежала во двор. А во дворе солнце играет, играет. Воздух легкий. А налево, этак у хлева, желтый теленок стоит и хвостишкой мух пугает. Взглянула я на теленка — слезы каплют. Вот, думаю, Димитрий Наумыч-то обрадуется этому самому желтому теленку...

— Позволь,—хмуро сказал фельдшер,—ты дело говори.

— Я ж и говорю, батюшка, Иван Кузьмич. Не сердись только. Дело я говорю... Выбежала я за ворота. Гляжу этак, знаете ли,—налево церковь, коза клоповская ходит, петух ножкой ворошит, а направо, по самой серединке, гляжу — Димитрий Наумыч идет. Глянула я на него. Сердце закатилось, икота подступает. Ой, думаю, мать честная, пресвятая богородица! Ой, думаю, тошненько!

А он-то идет серьезным, мелким шагом. Борода по воздуху треплется. И платье городское на нем. И в штиблетах... Как увидела штиблеты, будто что оторвалось у меня внутри. Ой, думаю, куда ж я такая-то, необразованная, гожусь ему в пару, если он, может, первый человек и депутат советский... Встала я дурой у плетня и ногами не могу идти. Перебираю пальцами плетень и стою. А он-то, Димитрий Наумыч, депутат советский, доходит до меня мелким ходом и здоровается.

«Здравствуйте, говорит, Пелагея Максимовна. Сколько, говорит, лет, сколько зим не виделись с вами...»

Мне бы, дуре, мешок у Димитрия Наумыча схватить, а я гляжу на штиблеты и не двигаюсь. Ой, думаю, отвык от меня мужик. Штиблеты носит. С городскими, может, с комсомолками разговаривает.

А Димитрий Наумыч отвечает басом:

«Ох, говорит, Пелагея, Пелагея, такая-то ты есть. Темная, говорит, ты у меня, Пелагея Максимовна. Про что, говорит, я с тобой теперь разговаривать буду? Я, говорит, человек просвещенный и депутат советский. Я, говорит, может, четыре правила арифметики насквозь знаю. Дробь, говорит, умею... А ты, говорит, вон какая! Небось, говорит, и фамилию не можешь подписывать на бумаге? Другой бы очень просто бросил бы тебя за темноту и необразованность».

А я стою у плетня и лепечу слова: дескать, ко-

нечно, Димитрий Наумыч, бросьте меня такую-то, что вам стоит.

А он берет меня за ручку и отвечает:

«Я шутку пошутил, Пелагея Максимовна. Оставьте думать. Я, говорит, это так. Что вы...»

Снова закатилось у меня сердце, икота подступает.

«Я, говорю, Димитрий Наумыч, будьте спокойны, тоже, конечно, могу дробь узнать и четыре правила. Или фамилию на бумаге подписывать. Я, говорю, не осрамлю вас, образованного...»

Фельдшер Иван Кузьмич встал со стула и прошелся по комнате.

— Ну, ну,—сказал он,—хватит, завралась... Чем болеешь-то?

— Болею-то? Да теперь ничего, Иван Кузьмич. Полегче будто теперь. На здоровье не могу пожаловаться... А он-то, Димитрий Наумыч, говорит: «Пошутил, говорит, я». Вроде как, значит, шутку он выразил.

— Ну да, пошутил,—сказал фельдшер.— Конечно. Порошков, может, тебе дать?

— А не надо,—сказала Пелагея.—Спасибо тебе, Иван Кузьмич, за советы. Мне ехать надо.

И Пелагея, оставив на столе кулек с зерном, пошла к двери. Потом вернулась.

— Дробь-то мне, Иван Кузьмич... Где мне про эту самую дробь-то теперь узнать? К учителю, что ли, мне ехать?

— К учителю,—сказал фельдшер, вздыхая,— конечно. Медицины это не касается.

Пелагея низко поклонилась и вышла на улицу.

1924

ИСПОВЕДЬ

На страстной неделе бабка Фекла сильно разорилась — купила за двугривенный свечку и поставила ее перед угодником.

Фекла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей взамен истраченного двугривенного.

Фекла долго молилась, бормоча себе под нос всякие свои мелкие просьбишки, потом, стукнув лбом о грязный каменный пол, вздыхая и кряхтя, пошла к исповеди.

Исповедь происходила в алтаре за ширмой.

Бабка Фекла стала в очередь за какой-то древней старушкой и снова принялась мелко креститься и бормотать. За ширмой долго не задерживали.

Исповедники входили туда и через минуту, вздыхая и тихонько откашливаясь, выходили, кланяясь угодникам.

«Торопится поп,—подумала Фекла.—И чего торопиться. Не на пожар ведь. Торопыга какой...»

Фекла вошла за ширму, низко поклонилась попу и припала к ручке.

— Как звать-то?—спросил поп, благословляя.

— Феклой зовут.

— Ну рассказывай, Фекла,—сказал поп,— какие грехи? В чем грешна? Не злословишь ли по-пустому? Не редко ли к богу прибегаешь?

— Грешна, батюшка, конечно,— сказала Фекла, кланяясь.

— Бог простит,—сказал поп, покрывая Феклу епитрахилью.— В бога-то веруешь ли? Не сомневаешься ли?

— В бога-то верую. Конечно,— сказала Фекла.— Сын-то приходит, например, выражается, осуждает, одним словом. А я-то верую.

— Это хорошо, матка,—сказал поп.—Не поддавайся легкому соблазну. А чего, скажи, сын-то говорит? Как осуждает?

— Осуждает,—сказала Фекла.—Это, говорит, пустяки — ихняя вера. Нету, говорит, не существует бога, хоть все небо и облака обыщи...

— Бог есть,— строго сказал поп.—Не поддавайся на это... А чего, вспомни, сын-то еще говорил?

— Да разное говорил.

— Разное!— сердито сказал поп.— А откуда все сие окружающее? Откуда планеты, звезды и луна, если бога-то нет? Сын-то ничего такого не говорил — откуда, дескать, все сие окружающее? Не химия ли это?

— Не говорил,—сказала Фекла, моргая глазами.

— А может, и химия,—задумчиво сказал поп.—Может, матка, конечно, и бога нету — химия все...

Бабка Фекла испуганно посмотрела на попа. Но тот положил ей на голову епитрахиль и стал бормотать слова молитвы.

— Ну иди, иди,—уныло сказал поп.—Не задерживай верующих.

Фекла еще раз испуганно оглянулась на попа и вышла, вздыхая и смиренно покашливая. Потом подошла к своему угодничку, посмотрела на свечку, поправила обгоревший фитиль и вышла из церкви.

1924

НЕ НАДО ИМЕТЬ РОДСТВЕННИКОВ

Два дня Тимофей Васильевич разыскивал своего племянника, Серегу Власова. А на третий день, перед самым отъездом, нашел. В трамвае встретил.

Сел Тимофей Васильевич в трамвай, вынул гривенник, хотел подать кондуктору, только глядит — что такое? Личность кондуктора будто очень знакомая. Посмотрел Тимофей Васильевич — да! Так и есть — Серега Власов собственной персоной в трамвайных кондукторах.

— Ну!— закричал Тимофей Васильевич.— Серега! Ты ли это, друг ситный?

Кондуктор сконфузился, поправил, без всякой видимой нужды, катушки с билетиками и сказал:

— Сейчас, дядя... билеты додам только.

— Ладно! Можно,—радостно сказал дядя.— Я обожду.

Тимофей Васильевич засмеялся и стал объяснять пассажирам:

— Это он мне родной родственник. Серега Власов. Брата Петра сын... Я его семь лет не видел... сукинова сына...

Тимофей Васильевич с радостью посмотрел на племянника и закричал ему:

— А я тебя, Серега, друг ситный, два дня ищу. По городу роюсь. А ты вон где! Кондуктором. А я и по адресу ходил. На Разночинную улицу. Нету, отвечают. Мол, выбыл с адреса. Куда, отвечаю, выбыл, ответьте, говорю, мне. Я его родной родственник. Не знаем, говорят... А ты вон где — кондуктором, что ли?

— Кондуктором,—тихо ответил племянник.

Пассажиры стали с любопытством рассматривать родственника. Дядя счастливо смеялся и с любовью смотрел на племянника, а племянник явно конфузился и, чувствуя себя при исполнении служебных обязанностей, не знал, чего ему говорить и как вести себя с дядей.

— Так,—снова сказал дядя,—кондуктором, значит. На трамвайной линии?

— Кондуктором...

— Скажи какой случай! А я, Серега, друг ситный, сел в трамвай, гляжу — что такое? Обличность будто у кондуктора чересчур знакомая. А это ты. Ах, твою семь-восемь!.. Ну, я же рад... Ну, я же доволен...

Кондуктор потоптался на месте и вдруг сказал:

— Платить, дядя, нужно. Билет взять... Далеко ли вам?

Дядя счастливо засмеялся и хлопнул по кондукторской сумке.

— Заплатил бы! Ей-богу! Сядь я на другой номер или, может быть, вагон пропусти — и баста — заплатил бы. Плакали бы мои денежки. Ах, твою семь-восемь!.. А я еду, Серега, друг ситный, до вокзалу.

— Две станции,—уныло сказал кондуктор, глядя в сторону.

— Нет, ты это что?— удивился Тимофей Васильевич.—Ты это чего, ты правду?

— Платить, дядя, надо,— тихо сказал кондуктор.— Две станции... Потому как нельзя дарма, без билетов, ехать...

Тимофей Васильевич обиженно сжал губы и сурово посмотрел на племянника.

— Ты это что же — с родного дядю? Дядю грабишь?

Кондуктор тоскливо посмотрел в окно.

— Randодерствуешь,—сердито сказал дядя.— Я тебя, сукинова сына, семь лет не видел, а ты чего это? Деньги требоваешь за проезд. С родного дядю? Ты не махай на меня руками. Хотя ты мне и родной родственник, но я твоих рук не испужался. Не махай, не делай ветру перед пассажирами.

Тимофей Васильевич повертел гривенник в руке и сунул его в карман.

— Что же это, братцы, такое?—обратился Тимофей Васильевич к публике.—С родного дядю требует. Две, говорит, станции... А?

— Платить надо,— чуть не плача сказал племянник.— Вы, товарищ дядя, не сердитесь. Потому как не мой здесь трамвай. А государственный трамвай. Народный.

— Народный,—сказал дядя,—меня это не касается. Мог бы ты, сукин сын, родного дядю уважить. Мол, спрячьте, дядя, ваш трудовой гривенник. Езжайте на здоровье. И не развалится от того трамвай. Я в поезде давеча ехал... Не родной кондуктор, а и тот говорит: пожалуйста, говорит, Тимофей Васильевич, что за счеты... Так садитесь... И довез... не родной... Только земляк знакомый. А ты это что — родного дядю... Не будет тебе денег.

Кондуктор вытер лоб рукавом и вдруг позвонил.

— Сойдите, товарищ дядя,— официально сказал племянник.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, Тимофей Васильевич всплеснул руками, снова вынул гривенник, потом опять спрятал.

— Нет,—сказал он,—не могу! Не могу тебе, сопляку, заплатить. Лучше пущай сойду.

Тимофей Васильевич торжественно и возмущенно встал и направился к выходу. Потом обернулся.

— Дядю... родного дядю гонишь,—с яростью сказал Тимофей Васильевич.—Да я тебя, сопляка... Я тебя, сукинова сына... Я тебя расстрелять за это могу. У меня много концов...

Тимофей Васильевич уничтожающе посмотрел на племянника и сошел с трамвая.

1924

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ

Кустарь Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

— Ну и ну... Ну и штука... Да что же это, братцы?..

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

— Ну что ж теперь делать-то будешь?—спрашивал я.—Чего покупать намерен?

— Да чего-нибудь куплю,— говорил Спиридонов.— Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил наконец из банка целую груду новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светло-коричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое, со многими мелкими морщинками под глазами.

— Ну как?— спросил я.

— Да что ж,—уныло сказал Спиридонов.— Живем. Дровец, конечно, купил... А так-то, конечно, скучновато.

— С чего бы?

Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:

— Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

— А что?

— Да как же,—сказал Спиридонов.—Нутека, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины,—со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо — дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иваныч с отчаянием махнул рукой.

— Чего же ты теперь делать-то будешь?— спросил я.

— А я не знаю,— сказал Илья Иваныч.— Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что неладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют. Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля.

А Мишка, женин братишка, наибольше колбасится.

— Довольно, говорит, стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу — драка. Кто кого бьет — неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю — жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку.

«Не дело, думаю. Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пущай девчонка продукты стряпает».

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена на досуге сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

— Сходи, говорю, хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба — пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет — на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

— Ты, говорит, что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

— Плохо,—сказал я.

— Еще бы не плохо,—оживился Илья Иваныч.— Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет — боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится — влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!

Илья Иваныч расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

— А чего это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысчонку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иваныч одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

1924

АЛЬФОНС

— Папаша мой, надо сказать, был торговцем,—сказал Иван Иванович Гусев.— При царском режиме папаша торговали в Дерябинском рынке... Ну а теперича через эту папашу мне форменная труба получается. Потому не приткнуться. Не берут в государственную службу. Что касается свободных профессий или там какого отхожего промысла, то этого тоже не горазд много.

Мне вот случилась на днях работишка, вроде отхожий промысел,—не сумел воспользоваться.

А промысел этот предложила девица одна. Кет — заглавие. Соседка. Рядом жили.

Так — ее комната, а так — моя. А перегородка тоненькая. И насквозь все слышно: и как девица домой к утру является, и как волосики свои на щипцах завивает, и как пиво пьет, и как с кавалерами на денежные темы беседует. Все насквозь слышно, только что выражения лица не видать.

А раз утром девица встала и стучит кулаком в стенку.

— Эй, говорит, мон шер, нет ли у вас спичек?

— Как же-с,—отвечаю через стенку,—есть. Я, говорю, хотя и безработный и питаюсь не ахти как, но, говорю, спички есть. Взойдите.

Является. В пенюаре, в безбелье, и туфельки кокетливо надеты на босу ногу.

— Здравствуйте, говорит. Мне завиться нужно, а спичек-то и нет. Я, говорит, сейчас верну вам ваши спички.

— Да уж, говорю, пожалуйста. Я, говорю, человек безработный, без образования, мне, говорю, не по карману спичками швыряться.

Слово за слово — разговорились.

— На какие шиши, спрашиваю, живете и почем за квадратную сажень вносите?

А она на прямой вопрос не отвечает и говорит двусмысленно:

— Раз, говорит, вы человек безработный и голодуете, то, говорит, могу вам от чистого сердца работишку предоставить.

— Какую же, спрашиваю, работишку?

— Да, говорит, альфонсом.

— Можно, говорю, объяснитесь, говорю, короче.

— А очень, говорит, просто. Ежели, говорит, я в ресторан одна явлюсь — мне одна цена, а ежели я с мужчиной и мужчина вроде родственника, то цена мне другая и повышается. Вот, говорит, мы и будем вместе ходить. Вместе придем, посидим, а после вы вроде заторопитесь:— ах, дескать, Кет, у меня, может, мамаша больна, мне идти нужно. А через час придете. Ах, дескать, Кет, вот и я, не пора ли нам, Кет, домой тронуться?

— Только и всего?— спрашиваю.

— Да, говорит. Принарядитесь только получше. Пенсне на нос наденьте, если есть. Сегодня мы и пойдем.

— Можно, говорю, работа не горазд трудная.

И вот к вечеру оделся я. Пиджак надел, свитер. Пенсне на нос прилепил — откуда-то она достала. И пошли.

Входим в ресторанное зало. Присаживаемся к столику. Я говорю:

— Дозвольте очки снять. Ни черта, с непривычки, не вижу и могу со стула упасть.

А она говорит:

— Нет. Потерпите.

Сидим. Терпим. Жрать нестерпимо хочется, а вокруг жареных курей носят, даже в носу щекотно.

А она мне шепчет в ухо:

— Пора, говорит, уходите.

Я встаю, двигаю нарочно стулом.

— Ах, говорю, Кет, я тороплюсь, вуаль-вуаля, у меня говорю, может, родная мама захворала. Вы тут посидите. Я за вами приду.

А она головой кивает, дескать, ладно, катитесь.

Снял я очки и вышел на улицу.

Полчаса походил по улице, замерз как собака, губа на губу не попадает.

Возвращаюсь назад. Гляжу: сидит моя девица за столиком, палец-мизинец отодвинула и жрет что-то. А рядом буржуй к ней наклонился и шепчет в ушную раковину.

Подхожу.

— Ах, говорю, вот и я. Не пора ли, говорю, Кет, нам с вами домой тронуться?

А она:

— Нет, говорит, Пьер, я, говорит, еще посижу немного со знакомой личностью. А вы идите домой.

— Ну, говорю, как хотите. Я и один пойду.

Потоптался я, потоптался, а уходить неохота. И жрать к тому же хочется это ужасно как.

— Вот, говорю, я сейчас пойду, только, говорю, присяду на минуточку по-родственному и как альфонс. Замерз как собака.

Она мне глазами мигает, а мне ни к чему.

Посижу, думаю, и уйду. Не просижу, думаю, ихние стулья.

Сел и сижу. А буржуй сконфузился и перестал шептать.

Я говорю:

— Вы не стесняйтесь... Я ейный родственник, шепчитесь себе на здоровье.

А он:

— Помилуйте, говорит, не желаете ли портеру выкушать?

— Можно, говорю. Отчего, говорю, родственнику портеру не выпить.

Выпил я портеру и захмелел вдруг — с голоду, что ли. Принялся чью-то котлету есть.

— Не будь, говорю, я родственником, не стал бы я эту котлетину есть. Ну а родственнику отчего не съесть? Родственнику глаз да глаз нужен.

— Помилуйте,—говорит буржуй.—Это что за намеки вы строите?

— Да нет, говорю, какие же намеки? Тоже, говорю, ихнее дамское дело, каждый обмануть норовит. Глаз да глаз нужен.

— То есть, говорит, как обмануть? Как понимать ваши слова?

— Да уж, говорю, понимайте, как хотите. Мне, говорю, некогда объясняться. Мне торопиться надо. А уж вы, будьте любезны, расплатитесь понастоящему с ней, без обману.

Надел я пенсне на нос, поклонился всем вежливо и вышел.

А теперича девица Кет в морду лезет.

Этак на каждый промысел и морды не напасешься.

1924

ДРОВА

И не раз и не два вспоминаю святые слова — дрова.
А. Блок

Это подлинное происшествие случилось на рождестве. Газеты мелким шрифтом в отделе происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то.

А я — человек любопытный. Я не удовлетворился сухими газетными строчками.

Я побежал по адресу, нашел виновника происшествия, втерся к нему в доверие и попросил подробнее осветить всю эту историю.

За бутылкой пива эта вся история была освещена.

Читатель — существо недоверчивое. Подумает: до чего складно врет человек.

А я не вру, читатель. Я и сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные твои очи и сказать: «Не вру». И вообще я никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазией я не отличаюсь. И не люблю поэтому растрачивать драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдумку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы.

Итак, извольте слушать почти святочный рассказ.

«Дрова,—сказал мой собеседник,—дело драгоценное. Особенно, когда снег выпадет да морозец ударит, так лучше дров ничего на свете не сыскать.

Дрова даже можно на именины дарить.

Лизавете Игнатьевне, золовке моей, я в день рождения подарил вязанку дров. А Петр Семеныч, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове.

— Это, говорит, не девятнадцатый год, чтобы дрова преподнесть.

Но, несмотря на это, мнения своего насчет дров я не изменил. Дрова — дело драгоценное и святое.

И даже когда проходишь по улице мимо, скажем, забора, мороз пощипывает, то невольно похлопываешь по деревянному забору.

А вор на дрова идет специальный. Карманник против него — мелкая социальная плотва.

Дровяной вор — человек отчаянный. И враз его никогда на учет не возьмешь.

А поймали мы вора случайно.

Дрова были во дворе складены. И стали те общественные дрова пропадать. Каждый день три-четыре полена недочет. А с четвертого номера Серега Пестриков наибольше колбасится.

— Караулить, говорит, братишки, требуется. Иначе, говорит, никаким каком вора не возьмешь.

Согласился народ. Стали караулить. Караулим по очереди, а дрова пропадают.

И проходит месяц. И заявляется ко мне племянник мой, Мишка Власов.

— Я, говорит, дядя, как вам известно, состою в союзе химиков. И могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон всучить. А вы, говорит, заложите патрон в полено и ждите. Мы, говорит, петрозаводские, у себя в доме завсегда так делаем, и воры оттого пужаются и красть остерегаются. Средство, говорит, богатое.

— Неси, говорю, курицын сын. Сегодня заложим.

Приносит.

Выдолбил я лодочку в полене, заложил патрон. Замуровал. И небрежно кинул полешко на дрова. И жду: что будет.

Вечером произошел в доме взрыв.

Народ смертельно испугался — думает черт знает что, а я-то знаю, и племянник Мишка знает, в чем тут запятая. А запятая — патрон взорвался в четвертом номере, в печке у Сереги Пестрикова.

Ничего я на это Сереге Пестрикову не сказал, только с грустью посмотрел на его подлое лицо, и на расстроенную квартиру, и на груды кирпича заместо печи, и на сломанные двери — и молча вышел.

Жертв была одна. Серегин жилец — инвалид Гусев — помер с испугу. Его кирпичом по балде звездануло.

А сам Серега Пестриков и его преподобная мамаша и сейчас живут на развалинах. И всей семейкой с нового году предстанут перед судом за кражу и дров пропажу.

И только одно обидно и досадно, что теперича Мишка Власов приписывает, сукин сын, себе все лавры.

Но я на суде скажу, какие же, скажу, его лавры, если я и полено долбил, и патрон закладывал?

Пущай суд распределит лавры».

1925

ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК

Трудный этот русский язык, дорогие граждане! Беда, какой трудный.

Главная причина в том, что иностранных слов в нем до черта. Ну взять французскую речь. Все хорошо и понятно. Кескесе, мерси, комси — все, обратите ваше внимание, чисто французские, натуральные, понятные слова.

А нуте-ка, сунься теперь с русской фразой — беда. Вся речь пересыпана словами с иностранным, туманным значением.

От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы.

Я вот на днях слышал разговор. На собрании было. Соседи мои разговорились.

Очень умный и интеллигентный разговор был, но я, человек без высшего образования, понимал ихний разговор с трудом и хлопал ушами.

Началось дело с пустяков.

Мой сосед, не старый еще мужчина с бородой, наклонился к своему соседу слева и вежливо спросил:

— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?

— Пленарное,—небрежно ответил сосед.

— Ишь ты,— удивился первый,— то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.

— Да уж будьте покойны,—строго ответил второй.— Сегодня сильно пленарное, и кворум такой подобрался — только держись.

— Да ну? — спросил сосед.— Неужели и кворум подобрался?

— Ей-богу,—сказал второй.

— И что же он, кворум-то этот?

— Да ничего,— ответил сосед, несколько растерявшись.—Подобрался, и все тут.

— Скажи на милость,—с огорчением покачал головой первый сосед.— С чего бы это он, а?

Второй сосед развел руками и строго посмотрел на собеседника, потом добавил с мягкой улыбкой:

— Вот вы, товарищ, небось не одобряете эти пленарные заседания... А мне как-то они ближе. Все как-то, знаете ли, выходит в них минимально по существу дня... Хотя я, прямо скажу, последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее.

— Не всегда это,—возразил первый.—Если, конечно, посмотреть с точки зрения. Вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, то — да, индустрия конкретно.

— Конкретно фактически,—строго поправил второй.

— Пожалуй,—согласился собеседник.—Это я тоже допущаю. Конкретно фактически. Хотя как когда...

— Всегда,—коротко отрезал второй.—Всегда, уважаемый товарищ. Особенно если после речей подсекция заварится минимально. Дискуссии и крику тогда не оберешься...

На трибуну взошел человек и махнул рукой. Все смолкло. Только соседи мои, несколько разгоряченные спором, не сразу замолчали. Первый сосед никак не мог помириться с тем, что подсекция заваривается минимально. Ему казалось, что подсекция заваривается несколько иначе.

На соседей моих зашикали. Соседи пожали плечами и смолкли. Потом первый сосед наклонился ко второму и тихо спросил:

— Это кто ж там такой вышедши?

— Это? Да это президиум вышедши. Очень острый мужчина. И оратор первейший. Завсегда остро говорит по существу дня.

Оратор простер руки вперед и начал речь. И когда он произносил надменные слова с иностранным, туманным значением, соседи мои сурово кивали головами. Причем второй сосед строго поглядывал на первого, желая показать, что он все же был прав в только что законченном споре.

Трудно, товарищи, говорить по-русски!

1925

АКТЕР

Рассказ этот — истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актерлюбитель.

Вот что он рассказал:

— Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.

Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А средь публики — знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь — подмигивают с партеру — дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь — дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.

Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.

Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват?». Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.

Так вот, поставили эту пьесу.

А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того его, бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.

Режиссер Иван Палыч мне говорит:

— Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, говорит, ты заместо его сыграешь? Публика-дура — не поймет.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу, говорю, к рампе выйти. Не просите. Я, говорю, сейчас два арбуза съел. Неважно соображаю.

А он говорит:

— Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы.

Все-таки упросили. Вышел я к рампе.

И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика хотя и дура, а враз узнала меня.

— А,—говорят,— Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы...

Я говорю:

— Робеть, граждане, не приходится — раз, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой и не может к рампе выйтить. Блюет.

Начали действие.

Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет.

Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов. Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-богу!

— Не подходите, говорю, сволочи, честью прошу.

А те по ходу пьесы это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.

Я кричу не своим голосом:

— Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.

А от этого полный эффект получается. Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:

— Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам.

Я кричу:

— Не помогает, братцы!

И сам стегаю прямо по рылам.

Вижу — один любитель кровью исходит, а другие, подлецы, в раж вошли и наседают.

— Братцы, кричу, да что ж это? За какое самое это страдать-то приходится?

Режиссер тут с кулис высовывается.

— Молодец, говорит, Вася. Чудно, говорит, рольку ведешь. Давай дальше.

Вижу — крики не помогают. Потому, чего ни крикнешь — все прямо по ходу пьесы ложится.

Встал я на колени.

— Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч. Не могу больше! Спущайте занавеску. Последнее, говорю, сбереженье всерьез прут!

Тут многие театральные спецы — видят, не по пьесе слова — из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает.

— Кажись, говорит, граждане, действительно у купца бумажник свистнули.

Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили.

— Братцы, говорю. Режиссер, говорю, Иван Палыч. Да что ж это, говорю. По ходу, говорю, пьесы ктой-то бумажник у меня вынул.

Ну, устроили обыск у любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул.

Деньги так и сгинули. Как сгорели.

Вы говорите — искусство? Знаем! Играли!

1925

СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА

В селе Усачи, Калужской губернии, на днях состоялись перевыборы председателя.

Городской товарищ Ведерников, посланный ячейкой в подшефное село, стоял на свежеструганых бревнах и говорил собранию:

— Международное положение, граждане, яснее ясного. Задерживаться на этом, к сожалению, не приходится. Перейдем поэтому к текущему моменту дня, к выбору председателя заместо Костылева Ивана. Этот паразит не может быть облечен всей полнотой государственной власти, а потому сменяется...

Представитель сельской бедноты, мужик Бобров, Михайло Васильевич, стоял на бревнах подле городского товарища и, крайне беспокоясь, что городские слова мало доступны пониманию крестьян, тут же, по доброй своей охоте, разъяснил неясный смысл речи.

— Одним словом,— сказал Михайло Бобров,— этот паразит, распроязви его душу — Костылев, Иван Максимович,— не могит быть облегчен и потому сменяется...

— И заместо указанного Ивана Костылева,— продолжал городской оратор,— предлагается избрать человека, потому как нам паразитов не надобно.

— И заместо паразита,— пояснил Бобров,— и этого, язви его душу, самогонщика, хоша он мне и родственник со стороны жены, предлагается изменить и наметить.

— Предлагается,— сказал городской товарищ,— выставить кандидатуру лиц.

Михайло Бобров скинул с себя от полноты чувств шапку и сделал жест, приглашая немедленно выставить кандидатуру лиц.

Общество молчало.

— Разве Быкина, что ли? Или Еремея Ивановича Секина, а?— несмело спросил кто-то.

— Так,— сказал городской товарищ,— Быкина... Запишем.

— Чичас запишем,— пояснил Бобров.

Толпа, молчавшая до сего времени, принялась страшным образом галдеть и выкрикивать имена, требуя немедленно возводить своих кандидатов в должность председателя.

— Быкина Васю! Еремея Ивановича Секина! Миколаева...

Городской товарищ Ведерников записывал эти имена на своем мандате.

— Братцы!— закричал кто-то.— Это не выбор — Секин и Миколаев... Надоть передовых товарищей выбирать... Которые настоящие в полной мере... Которые, может, в городе поднаторели — вот каких надоть... Чтоб все насквозь знали...

— Верно!— закричали в толпе.— Передовых надоть... Кругом так выбирают.

— Тенденция правильная,— сказал городской товарищ.— Намечайте имена.

В обществе произошла заминка.

— Разве Коновалова Лешку?— несмело сказал кто-то.— Он и есть только один приехавши с городу. Он это столичная штучка.

— Лешку!— закричали в толпе.— Выходи, Леша. Говори обществу.

Лешка Коновалов протискался через толпу, вышел к бревнам и, польщенный всеобщим вниманием, поклонился по-городскому, прижимая руку к сердцу.

— Говори, Лешка!— закричали в толпе.

— Что ж,— несколько конфузясь, сказал Лешка.— Меня выбирать можно. Секин или там Миколаев — разве это выбор? Это же деревня, гольтепа. А я, может, два года в городе терся. Меня можно выбирать...

— Говори, Лешка! Докладывай обществу!— снова закричала толпа.

— Говорить можно,— сказал Лешка.— Отчего это не говорить, когда я все знаю... Декрет знаю или какое там распоряжение и примечание. Или, например, кодекс... Все это я знаю. Два года, может, терся... Бывало, сижу в камере, а к тебе бегут. Разъясни, дескать, Леша, какое это есть примечание и декрет.

— Какая камера-то?— спросили в толпе.

— Камера-то?— сказал Лешка.— Да четырнадцатая камера. В Крестах мы сидели...

— Ну!— удивилось общество.— За что же ты, парень, в тюрьмах-то сидел?

Лешка смутился и растерянно взглянул на толпу.

— Самая малость,— неопределенно сказал Лешка.

— Политика или что слямзил?

— Политика,— сказал Лешка.— Слямзил малость...

Лешка махнул рукой и сконфуженно смылся в толпу.

Городской товарищ Ведерников, поговорив о новых тенденциях избирать поднаторевших в городе товарищей, предложил голосовать за Еремея Секина.

Михайло Бобров, представитель бедняцкого элемента, разъяснил смысл этих слов, и Еремей Секин был единогласно избран при одном воздержавшемся.

Воздержавшийся был Лешка Коновалов. Ему не по душе была деревенская гольтепа.

1925

БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани очень отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают — стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, залатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку),— дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.

— Ты что ж это, говорит, чужие шайки воруешь? Как ляпну тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, думаю, над его душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся — опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, думаю, в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, говорю. На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

— Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, говорит, не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок — польт не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется — выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нет. Что касаемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впущают.

— Раздевайтесь, говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

1925

НА ЖИВЦА

В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне.

Народ там более добродушный подбирается.

В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много привольней и веселей. Иногда там пассажиры разговаривают между собой на отвлеченные философские темы — о честности, например, или о заработной плате. Иногда же случаются и приключения.

На днях ехал я в четвертом номере.

Вот два гражданина против меня. Один с пилой. Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. А то к глазу поднесет и глядит на пассажиров через зеленое стекло. Очень интересно получается.

Рядом со мной — гражданка в теплом платке. Сидит она вроде сильно уставшая или больная. И даже глаза по временам закрывает. А рядом с гражданкой — пакет. Этакий в газету завернут и бечевкой перевязан.

И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него поглядывает.

— Мамаша!— говорю я гражданке.— Гляди, пакет сопрут. Убери хотя бы себе на колени.

Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала таинственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, снова закрыла глаза.

Потом опять с сильным неудовольствием посмотрела на меня и сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт паршивый...

Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно добавила:

— А может, я нарочно пакет этот отложила. Что тогда? Может, я и не сплю, а все как есть вижу и нарочно глаза прикрываю?

— То есть как?— удивился я.

— Как, как...— передразнила гражданка.— Может, я вора на этот пакет хочу поймать...

Пассажиры стали прислушиваться к нашему разговору.

— А чего в пакете-то?— деловито спросил человек с бутылкой.

— Да я же и говорю,— сказала гражданка.— Может, я нарочно туда костей-тряпок напихала... Потому — вор не разбирается, чего в ем. А прет и прет, что под руку попадет... Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу...

— И что же — попадают?— с любопытством спросил кто-то.

— А то как же,— воодушевилась гражданка.— Обязательно попадают... Давеча дамочка вкапалась... Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Черненькая брунеточка... Гляжу я — вертится эта дамочка. После цоп пакет и идет... А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...

— С транвая их, воров-то, скидывать надоть!— сказал сердито человек с пилой.

— Это ни к чему — с трамвая,— вмешался кто-то.— В милицию надоть.

— Конечно, в милицию,— сказала гражданка.— Обязательно в милицию... А то еще другой вкапался... Мужчина, славный такой, добродушный... Тоже вкапался... Взял прежде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет тихонько... А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка...

— На живца, значит, ловишь-то?— усмехнулся человек с бутылкой.— И много это попадают?

— Да я же и говорю,— сказала гражданка,— попадают.

Она замигала глазами, глянула в окно, засуетилась и объявила пассажирам, что проехала свою остановку.

И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и снова сказала:

— Сбил ты меня с плану, черт паршивый.

И ушла.

1925

ПАСХАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Вот, братцы мои, и праздник на носу — пасха православная.

Которые верующие, те, что бараны, потащат свои куличи святить. Пущай тащат! Я не потащу. Будет. Мне, братцы, в прошлую пасху на кулич ногой наступили.

Главное, что я замешкался и опоздал к началу. Прихожу к церковной ограде, а столы уже заняты. Я прошу православных граждан потесниться, а они не хотят. Ругаются.

— Опоздал, говорят, черт такой, так и станови свой кулич на землю. Нечего тут тискаться и пихаться — куличи посроняешь.

Ну, делать нечего, поставил свой кулич на землю. Которые опоздали, все наземь ставили.

И только поставил, звоны и перезвоны начались.

И вижу, сам батя с кисточкой прется.

Макнет кисточку в ведро и брызжет вокруг. Кому в рожу, кому в кулич — не разбирается.

А позади бати отец-дьякон выступает с блюдцем, собирает пожертвования.

— Не скупись, говорит, православная публика! Клади монету посередь блюдца.

Проходят они мимо меня, а отец-дьякон засевался на свое блюдо и — хлоп ножищей в мою тарелку.

У меня аж дух захватило.

— Ты что ж, говорю, длинногривый, на кулич-то наступаешь?.. В пасхальную ночь...

— Извините, говорит, нечаянно.

Я говорю:

— Мне с твоего извинения не шубу шить. Пущай мне теперь полную стоимость заплатят. Клади, говорю, отец-дьякон, деньги на кон!

Прервали шествие. Батя с кисточкой заявился.

— Это, говорит, кому тут на кулич наступили?

— Мне, говорю, наступили. Дьякон, говорю, сукин кот, наступил.

Батя говорит:

— Я, говорит, сейчас кулич этой кисточкой покроплю. Можно будет его кушать. Все-таки духовная особа наступила...

— Нету, говорю, батя. Хотя все ведерко на его выливай, не согласен. Прошу деньги обратно.

Ну, пря поднялась. Кто за меня, кто против меня.

Звонарь Вавилыч с колокольни высовывается, спрашивает:

— Звонить, что ли, или пока перестать?

Я говорю:

— Обожди, Вавилыч, звонить. А то под звон они меня тут совсем объегорят.

А поп ходит вокруг меня, что больной, и руками разводит.

А дьякон, длинногривый дьявол, прислонился к забору и щепочкой мой кулич с сапога счищает.

После выдают мне небольшую сумму с блюда и просят уйти, потому, дескать, мешаю им криками.

Ну, вышел я за ограду, покричал оттеда на отца-дьякона, посрамил его, а после пошел.

А теперь куличи жру такие, несвяченые.

Вкус тот же, а неприятностей куда как меньше.

1925

КРЕСТЬЯНСКИЙ САМОРОДОК

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется — Овчинников. А имя у него было простое — Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стишки и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или в газетку.

— Хотя бы одну штуковину напечатали,— говорил Иван Филиппович.— Охота посмотреть, как это глядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

— К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склонность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удют, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

— С рифмами я стихотворения не пишу,— признавался Иван Филиппович.— Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно — один черт, что с рифмой, что и без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил — не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

— Ну как? Не берут?

— Не берут, Иван Филиппович.

— Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-богу. Бывало, даже смех вокруг стоит: «Да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других...»—«Нету, говорим, знаем, что делаем». Ей-богу, уважаемый товарищ. Пущай не сомневаются...

— Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

— Ну, это уж они тово,— возмущался Иван Филиппович.— Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я сыздетства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пущай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца. Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И, наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, черт ее разберет, я окончательно сдал.

— Ага,— сказал я,— поэмку принесли?

— Поэмку принес,— добродушно подтвердил Иван Филиппович,— очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

— С чего бы это?

— Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье...

— Вдохновенье!— сказал я.— Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

— Дайте,— сказал он.— Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

— То есть как?— удивился я.— А поэзия?

— Какая поэзия,— сказал Иван Филиппович тараканьим голосом.— Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, черт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики — поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

1925

ПАССАЖИР

И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках и пущай багажи ездят, а не публика.

А говорят — культура и просвещение! Иль, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между прочим — такая дикая серость в вагонах допущается.

Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх.

А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку.

— На, говорит, дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.

— Братишечка, говорю, да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже и остановиться негде в Москве этой.

А он говорит:

— Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дура-голова, отпихиваешься.

С субботы на воскресенье я и поехал.

Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать сильно захотелось, а жрать нечего.

«Эх, думаю, Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить».

А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась — все локтем пихается.

— Расселся, говорит, дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.

Я говорю:

— Вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я, говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бочков втравил.

Не сочувствует.

А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты.

Обращаюсь к пассажирам:

— Граждане, говорю, допустите хотя в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать.

— Тут, отвечают, кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел.

Сижу. Еду. Еще три версты отъехал — нога зачумела. Встал. И гляжу — третья полка виднеется. А на ней корзина едет.

— Граждане, говорю, да что ж это? Человек, говорю, скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи... Человек, говорю, все-таки важней, чем вещи... Уберите, говорю, корзину, чья она.

Старушечка кряхтя подымается. За корзиной лезет.

— Нет, говорит, от вас, дьяволов, покою ни днем ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит бог, башку-то и отломишь на ночь глядя.

Я и полез.

Полез, три версты отъехал и задремал сладко.

Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз. Гляжу — падаю. Спросонья-то, думаю, каково падать.

И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку... Упал.

И, спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился — удар все-таки мягкий вышел.

Сижу на полу и башку щупаю — тут ли. Тут.

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.

На шум бригада с фонарем сходится.

Обер спрашивает:

— Кто упал?

Я говорю:

— Я упал. С багажной полки. Я, говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил меня в поездочку.

Обер говорит:

— У Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка.

Я говорю:

— Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пущай бы, говорю, лучше бригада не допущала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или урезонивают — дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.

Тут и старушка крик поднимает:

— Корзину, говорит, башкой смял.

Я говорю:

— Человек важнее корзинки. Корзинку, говорю, купить можно. Башка же, говорю, бесплатно все-таки.

Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше.

Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.

Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.

А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Э-э, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бочков — я бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку.

Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды и пошел, покачиваясь.

1925

ВОРЫ

Что-то, граждане, воров нынче развелось. Кругом прут без разбора.

Человека сейчас прямо не найти, у которого ничего не сперли.

У меня вот тоже недавно чемоданчик унесли, не доезжая Жмеринки.

И чего, например, с этим социальным бедствием делать? Руки, что ли, ворам отрывать?

Вот, говорят, в Финляндии в прежнее время ворам руки отрезали. Проворуется, скажем, какой-нибудь ихний финский товарищ, сейчас ему чик, и ходи, сукин сын, без руки.

Зато и люди там пошли положительные. Там, говорят, квартиры можно даже и не закрывать. А если, например, на улице гражданин бумажник обронит, так и бумажника не возьмут. А положат на видную тумбу, и пущай он лежит до скончания века... Вот дураки-то!

Ну, деньги-то из бумажника небось возьмут. Это уж не может того быть, чтоб не взяли. Тут не только руки отрезай, тут головы начисто оттяпывай — и то, пожалуй, не поможет. Ну да деньги — дело наживное. Бумажник остался, и то мерси.

Вот у меня, не доезжая Жмеринки, чемоданчик свистнули, так действительно начисто. Со всеми потрохами. Ручки от чемодана — и то не оставили. Мочалка была в чемодане — пятачок ей цена — и мочалку. Ну на что им, чертям, мочалка?! Бросят же, подлецы. Так нет. Так с мочалкой и сперли.

А главное, присаживается ко мне вечером в поезде какой-то гражданин.

— Вы, говорит, будьте добры, осторожней тут ездите. Тут, говорит, воры очень отчаянные. Кидаются прямо на пассажиров.

— Это, говорю, меня не пугает. Я, говорю, завсегда ухом на чемодан ложусь. Услышу.

Он говорит:

— Дело не в ухе. Тут, говорит, такие ловкачи — сапоги у людей снимают. Не то что ухо.

— Сапоги, говорю, опять же, у меня русские, с длинным голенищем — не снимут.

— Ну, говорит, вас к черту. Мое дело — предупредить. А вы там как хотите.

На этом я и задремал.

Вдруг, не доезжая Жмеринки, кто-то в темноте как дернет меня за ногу. Чуть, ей-богу, не оторвал... Я как вскочу, как хлопну вора по плечу. Он

как сиганет в сторону. Я за ним с верхней полки. А бежать не могу.

Потому сапог наполовину сдернут — нога в голенище болтается.

Поднял крик. Всполошил весь вагон.

— Что? — спрашивают.

— Сапоги, говорю, граждане, чуть не слимонили.

Стал натягивать сапог, гляжу — чемодана нету.

Снова крик поднял. Обыскал всех пассажиров — нету чемодана. Вор-то, оказывается, нарочно за ногу дернул, чтоб я башку с чемодана снял.

На большой станции пошел в Особый отдел заявлять.

Ну, посочувствовали там, записали.

Я говорю:

— Если поймаете, рвите у него к чертям руки.

Смеются.

— Ладно, говорят, оторвем. Только карандаш на место положите.

И действительно, как это случилось, прямо не знаю. А только взял я со стола ихний чернильный карандаш и в карман сунул.

Агент говорит:

— У нас, говорит, даром что Особый отдел, а в короткое время пассажиры весь прибор разворовали. Один сукин сын чернильницу унес. С чернилами.

Извинился я за карандаш и вышел.

«Да уж, думаю, у нас начать руки отрезать, так тут до черта инвалидов будет. Себе дороже».

А впрочем, чего-нибудь надо придумать против этого бедствия.

Хотя у нас имеется такая смелая мысль: жизнь с каждым годом улучшается и в скором времени, может быть, совсем улучшится, и тогда, может быть, и воров не будет.

Вот этим самым и проблема разрешится. Подождем.

1925

ШИПЫ И РОЗЫ

На лестнице раздался резкий звонок.

Я бросился открывать дверь.

Открыл. И вдруг в прихожую стремительно ворвался человек. Он явно был не в себе. Рот у него был открыт, усы висели книзу, глаза блуждали, и слюна тонкой струйкой текла по подбородку. Пиджак был порван и надет в один рукав.

— Счетчик?! — дико захрипел человек.— Скорей! Где?

Я ахнул с испугу и ткнул пальцем под потолок.

Человек вскочил на столик, раздавил ногой отличную дамскую шляпу и принялся за счетчик.

— Товарищ,— испуганно спросил я,— вы кто же, извиняюсь, будете? Контролер, что ли?

— Контролер,— хрипло сказал человек.— Чичас проверим, и дальше бежать надо...

Контролер спрыгнул на пол, зашиб ногу об угол сундука и, охая, бросился к выходной двери.

— Товарищ... Братишечка,— сказал я,— вы бы присели отдохнуть... на вас лица нет...

Контролер остановился, перевел дух и сказал:

— Фу... Действительно... Запарившись я сегодня... Сто квартир все-таки... Раньше мы шестьдесят проверяли, а теперича восемьдесят надо... А если больше, твое счастье — премия теперь идет... Вот догоню сегодня, ну, до полутораста, и будет... Мне много не надо. Я не жадный.

— Ну и ничего, поспеваете? — осторожно спросил я, поправляя помятую шляпу.

— Поспеваем,— ответил контролер.— Только что публика, конечно, не привыкши еще к повышению производительности. Пугается быстроте... Давеча вот в седьмой номер вбегаю — думали налетчик. Крик подняли. В девятом номере столик небольшой такой сломал — опять крики и недовольство. В соседнем доме по нечаянности счетчик сорвал — квартирант в морду полез. Не нравится ему, видите ли, что счетчик висит неинтересно. Некрасиво, говорит... Ах, гражданин, до чего публика не привыкши еще! Только что в вашей квартире тихо и благородно... Шляпенция-то еще держится... Раздавил я ее, что ли?

— Раздавили,— деликатно сказал я, подвязывая на шляпе сломанные перья.

— Да, уж эти дамские моды,— неопределенно сказал контролер, укоризненно покачивая головой.

Контролер потоптался у дверей и добавил:

— Беда с этим повышением. Всей душой рвешься, стараешься, а публика некультурная, обижается быстроте... Фу... Бежать надо. Прощайте вам...

Контролер сорвался с места, ударил себя по коленям, гикнул и одним прыжком ринулся на лестницу.

Производительность повышалась.

1925

РАБОЧИЙ КОСТЮМ

Вот, граждане, до чего дожили! Рабочий человек и в ресторан не пойди — не впущают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки.

На этом самом Василий Степаныч Конопатов пострадал. Собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили.

Главное, Василий Степаныч, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал, будто что-то не то, будто швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой — рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степанычу до слез обидным показалось отношение.

Он говорит швейцару:

— Что, говорит, косишься? Костюмчик не по вкусу? К манишечкам небось привыкши?

А швейцар Василия Степаныча цоп за локоть и не пущает.

Василий Степаныч в сторону.

— Ах так!— кричит.— Рабочего человека в ресторан не пущать? Костюм неинтересный?

Тут публика, конечно, собралась. Смотрит. Василий Степаныч кричит:

— Да, говорит, действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, говорит, не болтаются... И, может быть, говорит, я шею три месяца

не мыл. Но, говорит, я, может, на производстве прею и потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать.

Тут пищевики наседать стали на Василия Степаныча. Под руки выводят. Швейцар, собака, прямо коленкой поднажимает, чтобы в дверях без задержки было.

Василий Степаныч Конопатов прямо в бешенство пришел. Прямо рыдает человек.

— Товарищи, говорит, молочные братья! Да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, говорит, человеку пожрать не позволяют.

Тут поднялась катавасия. Потому народ видит — идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону. Кто бутылкой машет, кто стулом...

Хозяин кричит в три горла — дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата.

Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал. Является милиция. Берет родного голубчика, Василия Степаныча Конопатова, и сажает его на извозчика.

Василий Степаныч и тут не утих.

— Братцы, кричит, да что ж это? Уж, говорит, раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, говорит, лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, говорит, такое действие выносить.

И привезли Васю Конопатова в милицию, и сунули в каталажку.

Всю ночь родной голубчик, Вася Конопатов, глаз не смыкал. Под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику.

Начальник говорит:

— Идите, говорит, товарищ, домой и остерегайтесь подобные факты делать.

Вася говорит:

— Личность оскорбили, а теперь — идите... Рабочий, говорит, костюмчик не по вкусу? Я, говорит, может, сейчас сяду и поеду в Малый Совнарком жаловаться на ваши действия.

Начальник милиции говорит:

— Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, говорит, у нас правило — в ресторан не допущать. А ты, говорит, даже на лестнице наблевал.

— Как это? — спрашивает Конопатов.— Значит, меня не за костюм выперли?

Тут будто что осенило Василия Степаныча.

— А я, говорит, думал, что за костюмчик. А раз, говорит, по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому. Не спорю.

Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.

1925

СТАКАН

Тут недавно маляр Иван Антонович Блохин скончался по болезни. А вдова его, средних лет дамочка, Марья Васильевна Блохина, на сороковой день небольшой пикничок устроила.

И меня пригласила.

— Приходите, говорит, помянуть дорогого покойника чем бог послал. Курей и жареных утей у нас, говорит, не будет, а паштетов тоже не предвидится. Но чаю хлебайте сколько угодно, вволю и даже можете с собой домой брать.

Я говорю:

— В чае хотя интерес не большой, но прийти можно. Иван Антонович Блохин довольно, говорю, добродушно ко мне относился и даже бесплатно потолок побелил.

— Ну, говорит, приходите тем более.

В четверг я и пошел.

А народу приперлось множество. Родственники всякие. Деверь тоже, Петр Антонович Блохин. Ядовитый такой мужчина со стоячими кверху усиками. Против арбуза сел. И только у него, знаете, и делов, что арбуз отрезает перочинным ножом и кушает.

А я выкушал один стакашек чаю, и неохота мне больше. Душа, знаете, не принимает. Да и вообще чаишко неважный, надо сказать,— шваброй малость отзывает. И взял я стакашек и отложил к черту в сторону.

Да маленько неаккуратно отложил. Сахарница тут стояла. Об эту сахарницу я прибор и кокнул, об ручку. А стакашек, будь он проклят, возьми и трещину дай.

Я думал, не заметят. Заметили, дьяволы.

Вдова отвечает:

— Никак, батюшка, стакан тюкнули?

Я говорю:

— Пустяки, Марья Васильевна Блохина. Еще продержится.

А деверь нажрался арбуза и отвечает:

— То есть как это пустяки? Хорошие пустяки. Вдова их в гости приглашает, а они у вдовы предметы тюкают.

А Марья Васильевна осматривает стакан и все больше расстраивается.

— Это, говорит, чистое разорение в хозяйстве — стаканы бить. Это немыслимое дело — бить. Это, говорит, один — стакан тюкнет, другой — крантик у самовара начисто оторвет, третий — салфетку в карман сунет. Это что ж и будет такое?

А деверь, паразит, отвечает:

— Об чем, говорит, речь. Таким, говорит, гостям прямо морды надо арбузом разбивать.

Ничего я на это не ответил. Только побледнел ужасно и говорю:

— Мне, говорю, товарищ деверь, довольно обидно про морду слушать. Я, говорю, товарищ деверь, родной матери не позволю морду мне арбузом разбивать. И вообще, говорю, чай у вас шваброй пахнет. Тоже, говорю, приглашение. Вам, говорю, чертям, три стакана и одну кружку разбить — и то мало.

Тут шум, конечно, поднялся, грохот.

Деверь наибольше других колбасится. Съеденный арбуз ему, что ли, в голову бросился.

И вдова тоже трясется мелко от ярости.

— У меня, говорит, привычки такой нету — швабры в чай ложить. Может, это вы дома ложите, а после на людей тень наводите. Маляр, говорит, Иван Антонович в гробе, наверное, повертывается от этих тяжелых слов... Я, говорит, щучий сын, не оставлю вас так после этого.

Ничего я на это не ответил, только говорю:

— Тьфу на всех, и на деверя, говорю, тьфу.

И поскорее вышел.

Через две недели после этого факта повестку в суд получаю по делу Блохиной.

Являюсь и удивляюсь.

Нарсудья дело рассматривает и говорит:

— Нынче, говорит, все суды такими делами закрючены, а тут еще, не угодно ли. Платите, говорит, этой гражданке двугривенный и очищайте воздух в камере.

Я говорю:

— Я платить не отказываюсь, а только пущай мне этот треснувший стакан отдадут из принципа.

Вдова говорит:

— Подавись этим стаканом. Бери его.

На другой день, знаете, ихний дворник Семен приносит стакан. И еще нарочно в трех местах треснувший.

Ничего я на это не сказал, только говорю:

— Передай, говорю, своим сволочам, что теперь я их по судам затаскаю.

Потому, действительно, когда характер мой задет,— я могу до трибунала дойти.

1925

ЧУДНЫЙ ОТДЫХ

Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки не курица. Курица — та может действительно в отпусках не нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо.

А я, например, сорок лет не отдыхал. Как с двухлетнего возраста зарядил, так и пошла работа без отдыха и сроку.

А что касается воскресений или праздничных дней, то какой же это отдых? Сами понимаете: то маленько выпьешь, то гости припрутся, то ножку к дивану приклеить надо. Мало ли делов на свете у среднего человека! Жена тоже вот иной раз начнет претензии выражать. Какой тут отдых?

А в это лето очень отдыхать потянуло. Главная причина — все вокруг отдыхают. Ванюшка Егоров, например, в Крым ездил. Вернулся черный, как черт. И в весе сильно прибавился... Петруха Яичкин опять же на Кавказе отдыхал. Миша Бочков в свою деревню смотался. Две недели отлично прожил. Побили его даже там за что-то такое. Вернулся назад — не узнать. Карточку во как раздуло на правую сторону.

Вообще все, вижу, отдыхают, и все поправляются, один я не отдыхаю.

Вот и поехал этим летом. «Не курица, думаю. В Крым, думаю, неохота ехать. На всякие, думаю, трусики разоришься. Поеду куда поближе».

Поехал. В дом отдыха.

Очень все оказалось отлично и симпатично. И отношение внимательное. И пища жирная.

И сразу, как приехал, на весах взвешали. По новой метрической системе. И грудь смерили. И рост.

— Поправляйтесь, говорят.

— Да уж, говорю, маленько бы в весе хотелось бы прибавиться. Рост-то, говорю, пес с ним. Пущай прежний рост. А маленько потяжелеть не мешает. Не курица, говорю, гражданин фельдшер.

Фельдшер говорит:

— Вес — это можно. Нам весу не жалко. Валяйте!

Начал отдыхать. И сразу, знаете, обнаружилась очень чрезвычайная скука. Нечего делать — прямо беда! И пища жирная, и уход внимательный, и на весах вешают, а скука между тем сильная.

Утром, например, встал, рожу всполоснул, пошамал и лежи на боку. А лежать неохота — сиди. Сидеть неохота — ходи. А к чему, скажите, ходить без толку? Неохота ходить без толку. Привычки такой за сорок лет не выработалось.

Один день походил — хотел назад ехать. Да спасибо, своих же отдыхающих ребят в саду встретил.

Сидят они на лужку и в картишки играют.

— В козла, что ли?— спрашиваю.

— Так точно, говорят, в козла. Но, говорят, можно и в очко перейти. На интерес. Присаживайтесь, уважаемый товарищ! Мы с утра дуемся...

Присел, конечно.

Сыграли до ужина. Там маленько после ужина. Там утречком пораньше. А там и пошло у нас каждый день. Глядишь — и дней не видно. Не только, скажем, скука, а рожу помыть или кофейку выпить некогда.

Две недельки прошли, как сладкий сон. Отдохнул, можно сказать, за все сорок лет и душой и телом.

А что вес маленько убавился, то вес — дело наживное. Вес и на производстве нагулять можно. А рост, спасибо, остался прежний. Чуть маленько только убавился. Фельдшер говорит — от сидячей жизни.

1925

ТОРМОЗ ВЕСТИНГАУЗА

Главная причина, что Володька Боков маленько окосевши был. Иначе, конечно, не пошел бы он на такое преступление. Он выпивши был.

Если хотите знать, Володька Боков перед самым поездом скляночку эриванской выпил да пивком добавил. А насчет еды — он съел охотничью сосиску. Разве ж это еда? Ну и развезло парнишку. Потому состав сильно едкий получается. И башку от этого крутит, и в груди всякие идеи назревают, и поколбаситься перед уважаемой публикой охота.

Вот Володя сел в поезд и начал маленько проявлять себя. Дескать, он это такой человек, что все ему можно. И даже народный суд, в случае ежели чего, завсегда за него заступится. Потому у него — пущай публика знает — происхождение очень отличное. И родной дед его был коровьим пастухом, и мамаша его была наипростая баба...

И вот мелет Володька языком — струя на него такая нашла — погордиться захотел. А тут какой-то напротив Володьки гражданин обнаруживается. Вата у него в ухе, и одет чисто, не без комфорта. И говорит он:

— А ты, говорит, потреплись еще, так тебя и заметут на первом полустанке.

Володька говорит:

— Ты мое самосознание не задевай. Не могут

меня замести в силу происхождения. Пущай я чего хочешь сделаю — во всем мне будет льгота.

Ну струя на него такая напала. Пьяный же.

А публика начала выражать свое недовольство по этому поводу. А которые наиболее ядовитые, те подначивать начали. А какой-то в синем картузе, подлая его душа, говорит:

— А ты, говорит, милый, стукани вот вдребезги по окну, а мы, говорит, пущай посмотрим, заметут тебя или тебе ничего не будет. Или, говорит, еще того чище,— стекла ты не тронь, а останови поезд за эту ручку... Это тормоз...

Володька говорит:

— За какую за эту ручку? Ты, говорит, паразит, точнее выражайся.

Который в синем картузе отвечает:

— Да вот за эту. Это тормоз Вестингауза. Дергани его слева в эту сторону.

Публика и гражданин, у которого вата в ухе, начали, конечно, останавливать поднатчика. Дескать, довольно стыдно трезвые идеи внушать окосевшему человеку.

А Володька Боков встал и слева как дерганет ручку.

Тут все и онемели сразу. Молчание сразу среди пассажиров наступило. Только слышно, как колесья чукают. И ничего больше. Который в синем картузе, тот ахнул.

— Ах, говорит, холера, остановил ведь...

Тут многие с места повскакали. Который в синем картузе — на площадку пытался выйти от греха. Пассажиры не пустили.

У которого вата в ухе, тот говорит:

— Это хулиганство. Сейчас ведь поезд остановится... Транспорт от этого изнашивается. Задержка, кроме того.

Володька Боков сам испугался малость.

— Держите, говорит, этого, который в синем картузе. Пущай вместе сядем. Он меня подначил.

А поезд между тем враз не остановился.

Публика говорит:

— Враз и не может поезд останавливаться. Хотя и дачный поезд, а ему после тормоза разбег полагается — двадцать пять саженей. А по мокрым рельсам и того больше.

А поезд между тем идет и идет себе.

Версту проехали — незаметно остановки.

У которого вата в ухе — говорит:

— Тормоз-то, говорит, кажись, тово... неисправный.

Володька говорит:

— Я ж и говорю: ни хрена мне не будет. Выкусили?

И сел. А на остановке вышел на площадку, освежился малость и домой прибыл трезвый, что стеклышко.

1925

МУЖ

Да что ж это, граждане, происходит на семейном фронте? Мужьям-то ведь форменная труба выходит. Особенно тем, у которых, знаете, жена передовыми вопросами занята.

Давеча, знаете, какая скучная история. Прихожу домой. Вхожу в квартиру. Стучусь, например, в собственную свою дверь — не открывают.

— Манюся,— говорю своей супруге,— да это же я, Вася, пришедши.

Молчит. Притаилась.

Вдруг за дверью голос Мишки Бочкова раздается. А Мишка Бочков — сослуживец, знаете ли, супругин.

— Ах, говорит, это вы, Василь Иваныч. Сей минуту, говорит, мы тебе отопрем. Обожди, друг, чуточку.

Тут меня, знаете, как поленом по башке ударило.

«Да что ж это, думаю, граждане, происходит-то на семейном фронте — мужей впущать перестали».

Прошу честью:

— Открой, говорю, курицын сын. Не бойся, драться я с тобой не буду.

А я, знаете, действительно не могу драться. Рост у меня, извините, мелкий, телосложение хлипкое. То есть не могу я драться. К тому же, знаете ли, у меня в желудке постоянно что-то там булькает при быстром движении. Фельдшер говорит: «Это у вас пища играет». А мне, знаете, не легче, что она играет. Игрушки какие у ей нашлись! Только, одним словом, через это не могу драться.

Стучусь в дверь.

— Открывай, говорю, бродяга такая.

Он говорит:

— Не тряси дверь, дьявол. Сейчас открою.

— Граждане, говорю, да что ж это будет такое? Он, говорю, с супругой закрывшись, а я ему и дверь не тряси и не шевели. Открывай, говорю, сию минуту, или я тебе сейчас шум устрою.

Он говорит:

— Василь Иваныч, да обожди немного. Посиди, говорит, в колидоре на сундучке. Да коптилку, говорит, только не оброни. Я тебе нарочно ее для света поставил.

— Братцы, говорю, милые товарищи. Да как же, говорю, он может, подлая его личность, в такое время мужу про коптилку говорить спокойным голосом?! Да что ж это происходит!

А он, знаете, урезонивает через дверь:

— Эх, дескать, Василь Иваныч, завсегда ты был беспартийным мещанином. Беспартийным мещанином и скончаешься.

— Пущай, говорю, я беспартийный мещанин, а только сию минуту я за милицией сбегаю.

Бегу, конечно, вниз, к постовому.

Постовой говорит:

— Предпринять, товарищ, ничего не можем. Ежели, говорит, вас убивать начнут или, например, из окна кинут при общих семейных неприятностях, то тогда предпринять можно... А так, говорит, ничего особенного у вас не происходит... Все нормально и досконально... Да вы, говорит, побегите еще раз. Может, они и пустят.

Бегу назад — действительно, через полчаса Мишка Бочков открывает дверь.

— Входите, говорит. Теперь можно.

Вхожу побыстрее в комнату, батюшки светы — накурено, наляпано, набросано, разбросано. А за столом, между прочим, семь человек сидят — три бабы и два мужика. Пишут. Или заседают. Пес их разберет.

Посмотрели они на меня и хохочут.

А передовой ихний товарищ, Мишка Бочков, нагнулся над столом и тоже, знаете, заметно трясется от хохоту.

— Извиняюсь, говорит, пардон, что над вами подшутили. Охота нам было знать, что это мужья в таких случаях теперь делают.

А я ядовито говорю:

— Смеяться, говорю, не приходится. Раз, говорю, заседание, то так и объявлять надо. Или, говорю, записки на дверях вывешивать. И вообще, говорю, когда курят, то проветривать надо.

А они посидели-посидели — и разошлись. Я их не задерживал.

1925

ПАПАША

Недавно Володьке Гусеву припаяли на суде. Его признали отцом младенца с обязательным отчислением третьей части жалованья. Горе молодого счастливого отца не поддается описанию. Очень он грустит по этому поводу.

— Мне, говорит, на младенцев завсегда противно было глядеть. Ножками дрыгают, орут, чихают. Толстовку тоже, очень просто, могут запачкать. Прямо житья нет от этих младенцев.

А тут еще этакой мелкоте деньги отваливай. Третью часть жалованья ему подавай. Так вот — здорово живешь. Да от этого прямо можно захворать. Я народному судье так и сказал:

— Смешно, говорю, народный судья. Прямо, говорю, смешно, какие ненормальности. Этакая, говорю, мелкая крошка, а ему третью часть. Да на что, говорю, ему третья часть? Младенец, говорю, не пьет, не курит и в карты не играет, а ему выкладывай ежемесячно. Это, говорю, захворать можно от таких ненормальностей.

А судья говорит:

— А вы как насчет младенца? Признаете себя ай нет?

Я говорю:

— Странные ваши слова, народный судья. Прямо, говорю, до чего обидные слова. Я, говорю, захворать могу от таких слов. Натурально, говорю, это не мой младенец. А только, говорю, я знаю, чьи это интриги. Это, говорю, Маруська Коврова насчет моих денег расстраивается. А я, говорю, сам тридцать два рубли получаю. Десять семьдесят пять отдай,— что ж это будет? Я, говорю, значит, в рваных портках ходи. А тут, говорю, параллельно с этим Маруська рояли будет покупать и батистовые подвязки на мои деньги. Тьфу, говорю, провались, какие неприятности!

А судья говорит:

— Может, и ваш. Вы, говорит, припомните.

Я говорю:

— Мне припоминать нечего. Я, говорю, от этих припоминаний захворать могу... А насчет Маруськи — была раз на квартиру пришедши. И на трамвае, говорю, раз ездили. Я платил. А только, говорю, не могу я за это всю жизнь ежемесячно вносить. Не просите...

Судья говорит:

— Раз вы сомневаетесь насчет младенца, то мы сейчас его осмотрим и пущай увидим, какие у него наличные признаки.

А Маруська тут же рядом стоит и младенца своего разворачивает.

Судья посмотрел на младенца и говорит:

— Носик форменно на вас похож.

Я говорю:

— Я, говорю, извиняюсь, от носика не отказываюсь. Носик действительно на меня похож. За носик, говорю, я завсегда способен три рубля или три с полтиной вносить. А зато, говорю, остатний организм весь не мой. Я, говорю, жгучий брюнет, а тут, говорю, извиняюсь, как дверь белое. За такое белое — рупь или два с полтиной могу только вносить. На что, говорю, больше, раз оно в союзе даже не состоит.

Судья говорит:

— Сходство, действительно, растяжимое. Хотя, говорит, носик весь в папашу.

Я говорю:

— Носик не основание. Носик, говорю, будто бы и мой, да дырочки в носике будто бы и не мои — махонькие очень дырочки. За такие, говорю, дырочки не могу больше рубля вносить. Разрешите, говорю, народный судья, идти и не задерживаться.

А судья говорит:

— Погоди маленько. Сейчас приговор вынесем.

И выносят — третью часть с меня жалованья.

Я говорю:

— Тьфу на всех. От таких, говорю, дел захворать можно.

1925

УТОНУВШИЙ ДОМИК

Шел я раз по Васильевскому острову. Домик, гляжу, небольшой такой.

Крыша да два этажа. Да трубенка еще сверху торчит. Вот вам и весь домик.

Маленький, вообще, домишко. До второго этажа, если на плечи управдому встать, то и рукой дотянуться можно.

На этот домик я бы и вниманья своего не обратил, да какая-то каналья со второго этажа дрянью в меня плеснула.

Я хотел выразиться покрепче, поднял кверху голову — нет никого.

«Спрятался, подлец»,— думаю.

Стал я шарить глазами по дому. Гляжу, у второго этажа досочка какая-то прибита. На досочке надпись: «Уровень воды 23 сентября 1924 г.». «Ого, думаю, водица-то где была в наводнение. И куда же, думаю, несчастные жильцы спасались, раз вода в самом верхнем этаже ощущалась? Не иначе, думаю, на крыше спасались...»

Тут стали мне всякие ужасные картины рисоваться. Как вода первый этаж покрыла и ко второму прется. А жильцы небось в испуге вещички свои побросали и на крышу с отчаяния лезут. И к трубе, пожалуй что, канатами себя привязывают, чтобы вихорь в пучину не скинул.

И до того я стал жильцам сочувствовать в ихней прошлой беде, что и забыл про свою обиду.

Вдруг открывается окно и какая-то вредная старушенция подает свой голос:

— Чего, говорит, тебе, батюшка? Из соцстраха ты или, может, агент?

— Нету, говорю, мамаша, ни то и ни это, а гляжу вот и ужасаюсь уровнем. Вода-то, говорю, больно высока была. Небось, говорю, мамаша, тебя канатом к трубе подвязывали?

А старушка посмотрела на меня дико и окошко поскорей закрыла.

И вдруг выходит из ворот какой-то плотный мужчина в жилетке и с беспокойством спрашивает:

— Вам чего, гражданин, надо?

Я говорю:

— Чего вы все ко мне пристали? Уж и на дом не посмотри. Вот, говорю, гляжу на уровень. Высоко больно.

А мужчина усмехнулся и говорит:

— Да нет, говорит, это так. В нашем районе, говорит, хулиганы сильно балуют. Завсегда срывали фактический уровень. Вот мы его повыше и присобачили. Ничего, благодаря бога, теперь не трогают. И лампочку не трогают. Высоко потому... А касаемо воды — тут мельче колена было. Кура могла вброд пройти.

А мне как-то обидно вдруг стало вообще за уровни.

— Вы бы, говорю, на трубу еще уровень свой прибили.

А он говорит:

— Ежели этот уровень отобьют, так мы и на трубу — очень просто.

— Ну, говорю, и черт с вами. Тоните.

1925

КРИЗИС

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провезли. Ей-богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось — тьфу, тьфу, не сглазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина небось по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборты разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.

Ну а пока что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановиться негде — вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами — оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец в одном доме какой-то человечек по лестнице спущается.

— За тридцать рублей, говорит, могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, говорит, барская... Три уборных... Ванна. В ванной, говорит, и живите себе. Окон, говорит, хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, говорит, напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть цельный день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, говорю, не нуждаюсь нырять. Мне бы, говорю, на суше пожить. Сбавьте, говорю, немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну что ж, говорю, делать? Ладно. Рвите, говорю, с меня тридцать и допустите, говорю, скорее. Три недели, говорю, по панели хожу. Боюсь, говорю, устать.

Ну ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна действительно барская. Всюду, куда ни ступишь,— мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в аккурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попалась. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется, и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

— Что ж, говорит, и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, говорит, случае, перегородить можно. Тут, говорит, для примеру, будуар, а тут столовая...

Я говорю:

— Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы, говорю, дьяволы, не дозволяют. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну ладно. Живем как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем — и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок то есть ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство — по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться.

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

— Граждане, говорю, купайтесь по субботам. Нельзя же, говорю, ежедневно купаться. Когда же, говорю, жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.

Ну что ж делать — ничего не поделаешь. Живем как есть.

Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я, говорит, давно мечтала внука качать.

Вы, говорит, не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте, говорю, старушка, качайте. Пес с вами. Можете, говорю, воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

1925

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка, а целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провались совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руки взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, говорит, за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. Повернуться негде. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пущай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

«Вот те, думают, клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописал ижицу.

1925

СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО

Говорят, против алкоголя наилучше действует искусство. Театр, например. Карусель. Или какая-нибудь студия с музыкой.

Все это, говорят, отвлекает человека от выпивки с закуской.

И действительно, граждане, взять для примеру хотя бы нашего слесаря Петра Антоновича Коленкорова. Человек пропадал буквально и персонально. И вообще жил как последняя курица.

По будням после работы ел и жрал. А по праздникам и по воскресным дням напивался Петр Антонович до крайности. Беспредельно напивался.

И в пьяном виде дрался, вола вертел и вообще пьяные эксцессы устраивал. И домой лежа возвращался.

И уж, конечно, за всю неделю никакой культ-

работы не нес этот Петр Антонович. Разве что в субботу в баньку сходит, пополощется. Вот вам и вся культработа.

Родные Петра Антоновича от такого поведения сильно расстраивались. Стращали даже.

— Петр, говорят, Антонович. Человек вы квалифицированный, не первой свежести, ну мало ли в пьяном виде трюхнетесь об тумбу — разобьетесь же. Пейте несколько полегче. Сделайте такое семейное одолжение.

Не слушает. Пьет по-прежнему и веселится.

Наконец нашелся один добродушный человек с месткома. Он, знаете ли, так и сказал Петру Антоновичу:

— Петр, говорит, Антонович, отвлекайтесь, я вам говорю, от алкоголю. Ну, говорит, попробуйте заместо того в театр ходить по воскресным дням. Прошу вас честью и билет вам дарма предлагаю.

Петр Антонович говорит:

— Ежели, говорит, дарма, то попробовать можно, отчего же. От этого, говорит, не разорюсь, ежели то есть дарма.

Упросили, одним словом.

Пошел Петр Антонович в театр. Понравилось. До того понравилось — уходить не хотел. Театр уже, знаете, окончился, а он, голубчик, все сидит и сидит.

— Куда же, говорит, я теперя пойду на ночь глядя? Небось, говорит, все портерные закрыты уж. Ишь, говорит, дьяволы, в какое предприятие втравили!

Однако поломался-поломался и пошел домой. И трезвый, знаете ли, пошел. То есть ни в одном глазу.

На другое воскресенье опять пошел. На третье — сам в местком за билетом сбегал.

И что вы думаете? Увлекся человек театром. То есть первым театралом в районе стал. Как завидит театральную афишку — дрожит весь. Пить бросил по воскресеньям. По субботам стал пить. А баню перенес на четверг.

А последнюю субботу, находясь под мухой, разбился Петр Антонович об тумбу и в воскресенье в театр не пошел. Это было единственный раз за весь сезон, когда Петр Антонович пропустил спектакль. К следующему воскресенью небось поправится и пойдет. Потому — захватило человека искусство. Понесло...

1925

СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ

Нынче святочных рассказов никто не пишет. Главная причина — ничего такого святочного в жизни не осталось.

Всякая рождественская чертовщина, покойники и чудеса отошли, как говорится, в область предания.

Покойники, впрочем, остались. Про одного покойника могу вам, граждане, рассказать.

Эта истинная быль случилась перед рождеством. В сентябре месяце.

Поведал мне об этой истории один врач по внутренним и детским болезням.

Был этот врач довольно старенький и весь седой. Через этот факт он поседел или вообще поседел — неизвестно. Только действительно был он седой, и голос у него был сильный и надломленный.

То же и насчет голоса. Неизвестно, на чем голос он пропил. На факте или вообще.

Но дело не в этом.

А сидит раз этот врач в своем кабинете и думает:

«Пациент-то, думает, нынче нестоющий пошел. То есть каждый норовит по страхкарточке лечиться. И нет того, чтобы к частному врачу зайти. Прямо хоть закрывай лавочку».

И вдруг звонок.

Входит гражданин средних лет и жалуется врачу на недомогание. И сердце, дескать, у него все время останавливается, и вообще чувствует он, что помрет вскоре после этого визита.

Осмотрел врач больного — ничего такого. Совершенно как бык здоровый, розовый, и усы кверху закручены. И все на месте.

Прописал врач больному нашатырно-анисовых капель, принял за визит семь гривен, покачал головой. На том они и расстались.

На другой день в это же время приходит к врачу старушонка в черном платке. Поминутно сморкается и плачет. Говорит:

— Давеча, говорит, приходил к вам мой любимый племянник Василий Леденцов. Так он, видите ли, в ночь на сегодня скончался. Нельзя ли ему после этого выдать свидетельство о смерти.

Врач говорит:

— Очень, говорит, удивительно, что он скончался. От анисовых капель редко кончаются. Тем не менее, говорит, свидетельство о смерти выдать не могу — надо мне увидеть покойника.

Старушка говорит:

— Очень великолепно, идемте за мной. Тут недалече.

Взял врач с собой инструмент, надел, заметьте, калоши и вышел со старушкой.

И вот поднимаются они в пятый этаж. Входят в квартиру. Действительно, ладаном попахивает. Покойник на столе расположен. Свечки горят вокруг. И старушка где-то жалобно хрюкает.

И так врачу стало на душе скучно и противно.

«Экий я, думает, старый хрен, каково смертельно ошибся в пациенте. Какая канитель за семь гривен».

Присаживается он к столу и быстро пишет удостоверение. Написал, подал старушке и, не попрощавшись, поскорее вышел.

Вышел. Дошел до ворот. И вдруг вспомнил — мать честная, калоши позабыл.

«Экая, думает, неперка за семь гривен. Придется опять наверх ползти».

Поднимается он вновь по лестнице. Входит в квартиру. Дверь, конечно, открыта. И вдруг видит: сидит покойник Василий Леденцов на столе и сапог зашнуровывает. Зашнуровывает он сапог и со старушкой о чем-то препирается. А старушка ходит вокруг стола и пальцем свечки гасит. Послюнит палец и гасит.

Очень удивился этому врач, хотел с испугу вскрикнуть, однако сдержался и как был без калош — кинулся прочь.

Прибежал домой, упал на кушетку и со страху зубами лязгает. После выпил нашатырно-анисо-

вых капель, успокоился и позвонил в милицию.

А на другой день милиция выяснила всю эту историю.

Оказалось: агент по сбору объявлений, Василий Митрофанович Леденцов, присвоил три тысячи казенных денег. С этими деньгами он хотел начисто смыться и начать новую великолепную жизнь.

Одначе не пришлось.

Калоши врачу вернули к рождеству, в самый сочельник.

1925

ТЕЛЕФОН

Я, граждане, надо сказать, недавно телефон себе поставил. Потому по нынешним торопливым временам без телефона как без рук.

Мало ли — поговорить по телефону или, например, позвонить куда-нибудь.

Оно, конечно, звонить некуда — это действительно верно. Но, с другой стороны, рассуждая материально, сейчас не девятнадцатый год. Это понимать надо.

Это в девятнадцатом году не то что без телефона обходились — не жравши сидели, и то ничего.

А, скажем, теперь — за пять целковых аппараты тебе вешают. Господи твоя воля!

Хочешь — говори по нем, не хочешь — как хочешь. Никто на тебя не в обиде. Только плати денежки.

Оно, конечно, соседи с непривычки обижались.

— Может, говорят, оно и ночью звонить будет, так уж это вы — ах, оставьте.

Но только оно не то что ночью, а и днем, знаете, не звонит. Оно, конечно, всем окружающим я дал номера с просьбой позвонить. Но, между прочим, все оказались беспартийные товарищи и к телефону мало прикасаются.

Однако все-таки за аппарат денежки не даром плачены. Пришлось-таки недавно позвонить по очень важному и слишком серьезному делу.

Воскресенье было.

И сижу я, знаете, у стены. Смотрю, как это оно оригинально висит. Вдруг как оно зазвонит. То не звонило, не звонило, а тут как прорвет. Я, действительно, даже испугался.

«Господи, думаю, звону-то сколько за те же деньги!»

Снимаю осторожно трубку за свои любезные.

— Алло, говорю, откуда это мне звонят?

— Это, говорят, звонят вам по телефону.

— А что, говорю, такое стряслось и кто, извиняюсь, будет у аппарата?

— Это, отвечают, у аппарата будет одно знакомое вам лицо. Приходите, говорят, по срочному делу в пивную на угол Посадской.

«Видали, думаю, какие удобства! А не будь аппарата — что бы это лицо делало? Пришлось бы этому лицу на трамвае трястись».

— Алло, говорю, а что это за такое лицо и какое дело?

Однако в аппарат молчат и на это не отвечают.

«В пивной, думаю, конечно, выяснится».

Поскорее сию минуту одеваюсь. Бегу вниз.

Прибегаю в пивную.

Народу, даром что днем, много. И все незнакомые.

— Граждане, говорю, кто мне сейчас звонил и по какому, будьте любезны, делу?

Однако посетители молчат и не отвечают.

«Ах, какая, думаю, досада. То звонили, звонили, а то нет никого».

Сажусь к столику. Прошу подать пару.

«Посижу, думаю, может, и придет кто-нибудь. Странные, думаю, какие шутки».

Выпиваю пару, закусываю и иду домой.

Иду домой.

А дома то есть полный кавардак. Обокраден. Нету синего костюма и двух простынь.

Подхожу к аппарату. Звоню срочно.

— Алло, говорю, барышня, дайте в ударном порядке уголовный розыск. Обокраден, говорю, вчистую. Специально отозвали в пивную для этой цели. По телефону.

Барышня говорит:

— Будьте любезны — занято.

Звоню позже. Барышня говорит:

— Кнопка не работает, будьте любезны.

Одеваюсь. Бегу, конечно, вниз. И на трамвае в уголовный розыск.

Подаю заявление.

Там говорят:

— Расследуем.

Я говорю:

— Расследуйте и позвоните.

Они говорят:

— Нам, говорят, звонить как раз некогда. Мы, говорят, и без звонков расследуем, уважаемый товарищ.

Чем все это кончится — не знаю. Больше никто мне не звонил. А аппарат висит.

1926

ЧАСЫ

Главное — Василий Конопатов с барышней ехал. Поехал бы он один — все обошлось бы славным образом. А тут черт дернул Васю с барышней на трамвае выехать.

И, главное, как сложилось все дефективно! Например, Вася и привычки никогда не имел по трамваям ездить. Всегда пехом перся. То есть случая не было, чтоб парень в трамвай влез и добровольно гривенник кондуктору отдал.

А тут нате вам — манеры показал. Мол, не угодно ли вам, дорогая барышня, в трамвае покататься? К чему, дескать, туфлями лужи черпать?

Скажи на милость, какие великосветские манеры!

Так вот, влез Вася Конопатов в трамвай и даму за собой впер. И мало того, что впер, а еще и заплатил за нее без особого скандалу.

Ну, заплатил — и заплатил. Ничего в этом нет особенного. Стой, подлая душа, на месте, не задавайся. Так нет, начал, дьявол, для фасона за кожаные штуки хвататься. За верхние держатели. Ну и дохватался.

Были у парня небольшие часы — сперли.

И только сейчас тут были. А тут вдруг хватился,

хотел перед дамой пыль пустить — часов и нету. Заголосил, конечно.

— Да что ж это, говорит. Раз в жизни в трамвай вопрешься, и то трогают.

Тут в трамвае началась, конечно, неразбериха. Остановили вагон. Вася, конечно, сразу на даму свою подумал, не она ли вообще увела часы. Дама — в слезы.

— Я, говорит, привычки не имею за часы хвататься.

Тут публика стала наседать.

— Это, говорит, нахальство на барышню тень наводить.

Барышня отвечает сквозь слезы:

— Василий, говорит, Митрофанович, против вас я ничего не имею. Несчастье, говорит, каждого человека пригинает. Но, говорит, пойдемте, прошу вас, в угрозыск. Пущай там зафиксируют, что часы — пропажа. И, может, они, слава богу, найдутся.

Василий Митрофанович отвечает:

— Угрозыск тут ни при чем. А что на вас я подумал — будьте любезны, извините. Несчастье, это действительно, человека пригинает.

Тут публика стала выражаться. Мол, как это можно? Если часы — пропажа, то обязательно люди в угрозыск ходят и заявляют.

Василий Митрофанович говорит:

— Да мне, говорит, граждане, прямо некогда и, одним словом, неохота в угрозыск идти. Особых делов, говорит, у меня там нету. Это, говорит, не обязательно идти.

Публика говорит:

— Обязательно. Как это можно, когда часы — пропажа. Идемте, мы свидетели.

Василий Митрофанович отвечает:

— Это насилие над личностью.

Однако все-таки пойти пришлось.

И что бы вы, милые мои, думали? Зашел парень в угрозыск, а оттуда не вышел. Так-таки вот и не вышел. Застрял там. Главное — пришел парень со свидетелями, объясняет. Ему говорят:

— Ладно, найдем. Заполните эту анкету. И объясните, какие часы.

Стал парень объяснять и заполнять — и запутался.

Стали его спрашивать, где он в девятнадцатом году был. Велели показать большой палец. Ну и конченое дело. Приказали остаться и не удаляться. А барышню отпустили.

И подумать, граждане, что творится? Человек в угрозыск не моги зайти. Заметают.

1926

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Германская война и разные там окопчики — все это теперь, граждане, на нас сказывается. Все мы через это нездоровые и больные.

У кого нервы расшатаны, у кого брюхо как-нибудь сводит, у кого сердце не так аритмично бьется, как это хотелось бы. Все это результаты.

На свое здоровье, конечно, пожаловаться я не могу. Здоров. И жру ничего. И сон невредный. Однако каждую минуту остерегаюсь, что эти окопчики и на мне скажутся.

Тоже вот, не очень давно, встал я с постели. И надеваю, как сейчас помню, сапог. А супруга мне говорит:

— Что-то, говорит, ты, Ваня, сегодня с лица будто такой серый. Нездоровый, говорит, такой у тебя цвет бордо.

Поглядел я в зеркало. Действительно — цвет лица отчаянный бордо, и морда кирпича просит.

Вот те, думаю, клюква! Сказываются окопчики. Может, у меня сердце или там еще какой-нибудь орган не так хорошо бьется. Оттого, может, я и серею.

Пощупал пульс — тихо, но работает. Однако какие-то боли изнутри пошли. И ноет что-то.

Грустный такой я оделся и, не покушав чаю, вышел на работу.

Вышел на работу. Думаю — ежели какой черт скажет мне насчет моего вида или цвета лица — схожу обязательно к доктору. Мало ли — живет, живет человек и вдруг хлоп — помирает. Сколько угодно.

Без пяти одиннадцать, как сейчас помню, подходит до меня старший мастер Житков и говорит:

— Иван Федорович, голубчик, да что с тобой? Вид, говорит, у тебя сегодня чересчур отчаянный. Нездоровый, говорит, у тебя, землистый вид.

Эти слова будто мне по сердцу полоснули.

Пошатнулось, думаю, мать честная, здоровье. Допрыгался, думаю.

И снова стало ныть у меня внутри, мутить. Еле, знаете, до дому дополз. Хотел даже скорую помощь вызвать.

Дополз до дому. Свалился на постель. Лежу. Жена ревет, горюет. Соседи приходят, охают.

— Ну, говорят, и видик у тебя, Иван Федорович. Ничего не скажешь. Не личность, а форменное бордо.

Эти слова еще больше меня растравляют. Лежу плошкой и спать не могу.

Утром встаю разбитый, как сукин сын. И велю поскорей врача пригласить.

Приходит коммунальный врач и говорит: симуляция.

Чуть я за эти самые слова врача не побил.

— Я, говорю, покажу, какая симуляция. Я, говорю, сейчас, может быть, разорюсь на трояк и к самому профессору сяду и поеду.

Стал я собираться к профессору. Надел чистое белье. Стал бриться. Провел бритвой по щеке, мыло стер — гляжу — щека белая, здоровая, и румянец на ней играет.

Стал поскорей физию тряпочкой тереть, гляжу — начисто сходит серый цвет бордо.

Жена приходит, говорит:

— Да ты небось, Ваня, неделю рожу не полоскал?

Я говорю:

— Неделю, этого быть не может,— тоже хватила, дура какая. Но, говорю, дня четыре, это, пожалуй, действительно верно.

А главное, на кухне у нас холодно и неуютно. Прямо мыться вот как неохота. А когда стали охать да ахать — тут уж и совсем, знаете ли, не до мытья. Только бы до кровати доползти.

Сию минуту помылся я, побрился, галстук при-

цепил и пошел свеженький, как огурчик, к своему приятелю.

И боли сразу будто ослабли. И сердце ничего себе бьется. И здоровье стало прямо выдающееся.

1926

БОЧКА

Вот, братцы, и весна наступила. А там, глядишь, и лето скоро. А хорошо, товарищи, летом! Солнце пекет. Жарынь. А ты ходишь этаким чертом без валенок, в одних портках, и дышишь. Тут же где-нибудь птичечки порхают. Букашки куда-нибудь стремятся. Червячки чирикают. Хорошо, братцы, летом.

Хорошо, конечно, летом, да не совсем.

Года два назад работали мы по кооперации. Такая струя в нашей жизни подошла. Пришлось у прилавка стоять. В двадцать втором году.

Так для кооперации, товарищи, нет, знаете, ничего гаже, когда жарынь. Продукт-то ведь портится.Тухнет продукт ай нет? Конечное дело, тухнет. А ежли он тухнет, есть от этого убытки кооперации? Есть.

А тут, может, наряду с этим, лозунг брошен — режим экономии. Ну как это совместить, дозвольте вас спросить?

Нельзя же, граждане, с таким полным эгоизмом подходить к явлениям природы и радоваться и плясать, когда наступает тепло. Надо же, граждане, и об общественной пользе позаботиться.

А помню, у нас в кооперативе спортилась капуста, стухла, извините за такое некрасивое сравнение.

И мало того что от этого прямой у нас убыток кооперации, так тут еще накладной расход. Увозить, оказывается, надо этот спорченный продукт. У тебя же, значит, испортилось, ты же на это еще и денежки свои докладывай. Вот обидно!

А бочка у нас стухла громадная. Этакая бочища, пудов, может, на восемь. А ежели на килограммы, так и счету нет. Вот какая бочища!

И такой от нее скучный душок пошел — гроб.

Заведующий наш, Иван Федорович, от этого духа прямо смысл жизни потерял. Ходит и нюхает.

— Кажись, говорит, братцы, разит?

— Не токмо, говорим, Иван Федорович, разит, а прямо пахнет.

И запашок действительно, надо сказать, острый был. Прохожий человек по нашей стороне ходить даже остерегался. Потому с ног валило.

И надо бы эту бочечку поскорее увезти куда-нибудь к чертовой бабушке, да заведующий, Иван Федорович, мнется. Все-таки денег ему жалко. Подводу надо нанимать, пятое, десятое. И везти к черту на рога за весь город. Все-таки заведующий и говорит:

— Хоть, говорит, и жалко, братцы, денег, и процент, говорит, у нас от этого ослабнет, а придется увезти этот бочонок. Дух уж очень тяжелый.

А был у нас такой приказчик, Васька Веревкин. Так он и говорит:

— А на кой пес, товарищи, бочонок этот вывозить и тем самым народные соки-денежки тратить и проценты себе слабить? Нехай выкатим этот бочонок во двор. И подождем, что к утру будет.

Выперли мы бочку во двор. Наутро являемся — бочка чистая стоит. Сперли за ночь капусту.

Очень мы, работники кооперации, от этого факта повеселели. Работа прямо в руках кипит — такой подъем наблюдается. Заведующий наш, голубчик Иван Федорович, ходит и ручки свои трет.

— Славно, говорит, товарищи, пущай теперь хоть весь товар тухнет, завсегда так делать будем.

Вскоре стухла еще у нас одна бочечка. И кадушка с огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили добро на двор и калиточку приоткрыли малость. Пущай, дескать, повидней с улицы. И валяйте, граждане!

Только на этот раз мы проштрафились. Не только у нас капусту уволокли, а и бочку, черти, укатили. И кадушечку слямзили.

Ну а в следующие разы спорченный продукт мы на рогожку вываливали. Так с рогожей и выносили.

1926

КИНОДРАМА

Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгодней театра. Раздеваться, например, не надо — гривенники от этого все время экономишь. Бриться опять же не обязательно — в потемках личности не видать.

В кино только в самую залу входить худо. Трудновато входить. Свободно могут затискать до смерти.

А так все остальное очень благородно. Легко смотрится.

В именины моей супруги поперли мы с ней кинодраму глядеть. Купили билеты. Начали ждать.

А народу многонько скопившись. И все у дверей мнутся.

Вдруг открывается дверь, и барышня говорит: «Валяйте».

В первую минуту началась небольшая давка. Потому каждому охота поинтересней место занять.

Ринулся народ к дверям. А в дверях образовавшись пробка.

Задние поднажимают, а передние никуда не могут.

А меня вдруг стиснуло, как севрюгу, и понесло вправо.

«Батюшки, думаю, дверь бы не расшибить».

— Граждане, кричу, легче, за ради бога! Дверь, говорю, человеком расколоть можно.

А тут такая струя образовавшись — прут без удержу. А сзади еще военный на меня некультурно нажимает. Прямо, сукин сын, сверлит в спину.

Я этого черта военного ногой лягаю.

— Оставьте, говорю, гражданин, свои арапские штучки.

Вдруг меня чуть приподняло и об дверь мордой.

Так, думаю, двери уж начали публикой крошить.

Хотел я от этих дверей отойти. Начал башкой дорогу пробивать. Не пущают. А тут, вижу, штанами за дверную ручку зацепился. Карманом.

— Граждане, кричу, да полегче же, караул! Человека за ручку зацепило.

Мне кричат:

— Отцепляйтесь, товарищ! Задние тоже хочут.

А как отцеплять, ежели волокет без удержу и вообще рукой не двинуть.

— Да стойте же, кричу, черти! Погодите штаны сымать-то. Дозвольте же прежде человеку с ручки сняться. Начисто материал рвется.

Разве слушают? Прут...

— Барышня, говорю, отвернитесь хоть вы-то, за ради бога. Совершенно, то есть, из штанов вынимают против воли.

А барышня сама стоит посиневши и хрипит уже. И вообще смотреть не интересуется.

Вдруг, спасибо, опять легче понесло.

Либо с ручки, думаю, снялся, либо из штанов вынули.

А тут сразу пошире проход обнаружился.

Вздохнул я свободнее. Огляделся. Штаны, гляжу, тут. А одна штанина ручкой на две половинки разодрана и при ходьбе полощется парусом.

Вон, думаю, как зрителей раздевают.

Пошел в таком виде супругу искать. Гляжу, забили ее в самый то есть оркестр. Сидит там и выходить пугается.

Тут, спасибо, свет погасили. Начали ленту пущать.

А какая это была лента — прямо затрудняюсь сказать. Я все время штаны зашпиливал.

Одна булавка, спасибо, у супруги моей нашлась. Да еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего белья сняла. Еще веревочку я на полу нашел. Полсеанса искал.

Подвязал, подшпилил, а тут, спасибо, и драма кончилась. Пошли домой.

1926

БЕШЕНСТВО

Натерпелись мы вчера страху. То есть форменный испуг на себе испытали.

Может, член правления Лапушкин до сих пор сидит у себя на квартире, трясется. А он зря не станет трястись. Я его знаю.

А главное, все эти дни были, сами знаете, какие жаркие. Не только, скажем, крупное животное — клоп и тот может по такой жаре взбеситься, если, конечно, его на солнцепеке подержать.

А тут еще в газетах сообщают: по двадцать шесть животных ежедневно бесятся.

Тут действительно сдрейфишь.

А мы, для примеру, у ворот стояли. Разговаривали.

Стоим у ворот, разговариваем насчет бешенства и вдруг видим — по нашей стороне, задрав хвост, собака дует.

Конечно, она довольно спокойно бежит. По виду нипочем не скажешь, что она бешеная. Хвостишко у ней торчит, и слюны пока не видать. Только что рот у ней подозрительно закрыт, и глаза открыты.

В таком виде и бежит.

Добегла она до члена правления. Член правления, конечно, ее палкой.

Ляпнул ее по башке палкой. Видим — собака форменно бешеная. Хвост у ней после удара обмяк, книзу висит. И вообще начала она на нас кидаться. Хотя слюны пока не показывает.

Начала она кидаться, а дворник Володин не растерялся, вооружился камушком и тяпнул ее по башке.

Тяпнул ее по башке. Глядим — все признаки налицо. Рот раскрыт. Слюна вышибает. Хвост колбасой. И вообще накидывается.

Член правления кричит:

— Спасайся, робя! Бешеная...

Бросились мы кто куда. А дворник Володин в свисток начал свистеть.

Тут кругом на улице рев поднялся. Крики. Суматоха.

Тут постовой бежит. Револьверы вынимает.

— Где тут, кричит, ребятишки, бешеная собака? Сейчас мы ее уконтрапупим!

Поднялась тут стрельба. Член правления из окон своей квартиры командует, куда стрелять и куда прохожим бежать.

Вскоре, конечно, застрелили собачку.

Только ее застрелили, вдруг хозяин ее бежит. Он в подвале сидел, спасался от выстрелов.

— Да что вы, говорит, черти, нормальных собак кончаете? Совершенно, говорит, нормальную собаку уконтрапупили.

— Брось, говорим, братишка! Какая нормальная, если она кидается.

А он говорит:

— Трех нормальных собак у меня в короткое время прикончили. Это же, говорит, прямо немыслимо! Нет ли, говорит, в таком случае свободной квартирки в вашем доме?

— Нету, говорим, дядя.

А он взял свою Жучку на плечи и пошел. Вот чудак-то!

1926

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ

Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую. Пострадал этот милый человек на все шесть гривен и ничего такого особенно выдающегося за эти деньги не видел.

Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый. Другой бы на его месте все кино, может, разбросал и публику из залы выкурил. Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. Понимать надо.

А в субботу голубчик наш, Николай Иванович, немножно, конечно, выпил. После получки.

А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благородно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг глядит — перед ним кино.

«Дай, думает, все равно — зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный, чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать? Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел».

Купил он за свои пречистые билет. И сел в пе-

реднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит.

Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует.

Поехал в Ригу наш Николай Иванович, все чинно-благородно — никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет.

Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу, значит, Риги.

— Могли бы, говорят, товарищ, для этой цели в фойе пройтись, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи.

Николай Иванович — человек культурный, сознательный — не стал, конечно, зря спорить и горячиться. А встал и пошел тихонько.

«Чего, думает, с трезвыми связываться? От них скандалу не оберешься».

Пошел он к выходу. Обращается в кассу.

— Только что, говорит, дамочка, куплен у вас билет, прошу вернуть назад деньги. Потому как не могу картину глядеть — меня в темноте развозит.

Кассирша говорит:

— Деньги мы назад выдавать не можем, ежели вас развозит — идите тихонько спать.

Поднялся тут шум и перебранка. Другой бы на месте Николая Иваныча за волосья бы выволок кассиршу из кассы и вернул бы свои пречистые. А Николай Иванович, человек тихий и культурный, только, может, раз и пихнул кассиршу.

— Ты, говорит, пойми, зараза, не смотрел я еще на твою ленту. Отдай, говорит, мои пречистые.

И все так чинно-благородно, без скандалу — просит, вообще, вернуть свои же деньги.

Тут заведующий прибегает.

— Мы, говорит, деньги назад не вертаем, раз, говорит, взято, будьте любезны досмотреть ленту.

Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы в зава и пошел бы досматривать за свои пречистые. А Николай Иванычу очень грустно стало насчет денег, начал он горячо объясняться и обратно в Ригу поехал.

Тут, конечно, схватили Николая Ивановича, как собаку, поволокли в милицию. До утра продержали. А утром взяли с него трешку штрафу и выпустили.

Очень мне теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай: человек, можно сказать, и ленты не глядел, только что за билет подержался — и пожалуйте, гоните за это мелкое удовольствие три шесть гривен. И за что, спрашивается, три шесть гривен?

1926

МОНТЕР

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важней в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку — мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость.

А тут такое подошло. Сегодня, для примеру, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

— Да ради бога, медам. Сейчас я вам пару билетов сварганю. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

— Сегодня вроде как выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах так, говорит. Ну так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чертовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — отчаянно флиртует.

Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегает. Публика орет. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший завсегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно — я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пущай сукин сын монтер поет.

Монтер говорит:

— Пущай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Дерьмо какое нашлось! Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чертовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, корова их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чертовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

1926

ПРЕЛЕСТИ КУЛЬТУРЫ

Всегда я симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться,— сиди в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Нюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить — не помню.

Встречают и уговаривают:

— Горло, говорят, Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль — «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр — провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Польта, говорят, сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули польта. А я, конечно, стою в раздумье. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, думаю, срамота может произойти». Главное — рубаха нельзя сказать что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, думаю, с такой крупной пуговицей в фойе идти».

Я говорю своим:

— Прямо, говорю, товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

— Ну, покажись.

Расстегнулся я. Показываюсь.

— Да, говорит, действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

— Я, говорит, лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

— Я не знал, что я в театры иду,— дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу,— что тогда?

Стали мы думать, что делать. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Я, говорит, Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

— Ой, говорит, мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто бы тебе все время жарко.

Дама говорит:

— Лучше, говорит, я, ей-богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака. Пущай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем, показываем союзные книжки — не пущают.

— Это, говорят, не девятнадцатый год — в пальто сидеть.

— Ну, говорю, ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти — ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Ты, говорит, подтяжки отстегни,— пущай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй как есть: будто у тебя это летняя рубашка апаш и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

— Я подтяжки не понесу, как хотите, Я, говорит, не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пущай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит.

Дама отвечает:

— Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-богу, лучше я домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются — сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня.

— Дамам, говорят, противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

— Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, говорю, братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все как есть.

После отпускают.

— А теперь, говорят, придется вам трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности...

1926

МЕЩАНСКИЙ УКЛОН

Этот случай окончательно может доконать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного черт знает с какого года — выкинули с трамвайной площадки.

Больше того — мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был ухватившись за нее двумя руками и головой и долго не отцеплялся. А его милиция и обер-стрелочник стягивали.

Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, ввиду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!

А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает:

«Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себя напущаю и не могу идтить пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий».

Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай № 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становит на площадку стремянку.

Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты — не блестела. И в ведрышко — раз в нем краска — нельзя свои польты окунать. И которая дама сунула туда руку — сама, дьявол ее задави, виновата. Не суй рук в чужие предметы!

Но это все так, с этим мы не спорим: может, Василий Тарасович, действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь — о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма.

— То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться, совершенно, то есть, отпечатки бывают.

Василий Тарасович резонно отвечает:

— Очень, говорит, то есть, понятно — раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков.

Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит:

— Трамвай для публики или публика для трамвая — это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в пять часов шабашу. Может, я маляр?

Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и обер-стрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают об полустойку и выживают. Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя! До чего докатились!

1926

ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так, приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не дозволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела, я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

У вас, говорит, полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, думаю, сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, говорит, у вас довольно в аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца — очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. «Надо, думаю, в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо, думаю, острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.

— Эй, говорю, который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-богу, водка. Что за черт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, кричу, еще!

«Вот, думаю, поперло-то!»

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал.

— Я, говорю, лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси, говорю, еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

1926

ГОСТИ

Конечно, об чем говорить! Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходится за ним следить. И чтоб пальто свое надел. И чтоб лишнюю барашковую шапку не напялил.

Еду-то, конечно, пущай берет. Но зачем же еду в салфетки заворачивать? Это прямо лишнее. За этим не последишь, так гости могут в две вечеринки все имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вон какие гости пошли!

У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих праздниках.

Приглашено было на рождество человек пятнадцать самых разнообразных гостей. Были тут и дамы, и не дамы. Пьющие и выпивающие.

Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи рублей. Выпивка — на паях. По два с полтиной с носу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. Другая дама налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперед дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это уж дело хозяйское. Им видней.

А хозяев было трое. Супруги Зефировы и ихний старик — женин папа — Евдокимыч.

Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями.

— Втроем-то, говорят, мы очень свободно за гостями доглядеть можем. Каждого гостя на учет возьмем.

Стали они глядеть.

Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что «мама» сказать не мог.

Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи.

Сам хозяин Зефиров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчился и сам начал ходить по квартире — следить, как и чего и чтоб ничего лишнего.

Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безобразия. И заснул на видном месте — в столовой на подоконнике.

Впоследствии обнаружилось, что ему надуло фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом.

Гости, пожрав вволю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в щеточку.

Во время игры в щеточку открывается дверь и входит мадам Зефирова, бледная как смерть, и говорит:

— Это, говорит, ну чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электрическую лампочку в двадцать пять свечей. Это, говорит, прямо гостей в уборную нельзя допущать.

Начался шум и треволнение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал беспокоиться и за гостей хвататься.

Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать.

— Хватайтесь, говорят, за мужчин, в крайнем случае, а не за нас.

Мужчины говорят:

— Пущай тогда произведут поголовный обыск.

Приняли меры. Закрыли двери. Начали устраивать обыск.

Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы, и расстегивали гимнастерки и шаровары, и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутербродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было.

Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться — дескать, погорячилась и кинула тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.

Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше, танцы под балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться.

А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно.

Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимонить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман.

Там она и разбилась.

Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.

1927

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил.

Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски — ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того, почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского, и для дамского обихода.

Все это в кучку было свалено в углу, у рукомойника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед самым отъездом — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дритте, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечное дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи действительно были хотя и ношеные и, вообще говоря, чуть держались, однако, слов нет — настоящий, заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали, и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся немецких ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев, действительно, поддержал немецкое производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, говорит, лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот наконец дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар. Прямо душой отдыхаю.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку.

Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой, менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю,— сказал он.— Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это действительно не переплюнешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь, и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

1927

ВОЛОКИТА

Недавно один уважаемый товарищ, Кульков Федор Алексеевич, изобрел способ против бюрократизма. Вот государственная башка-то!

А способ до того действительный, до того дешевый, что надо бы за границей патент взять, да, к глубокому сожалению, Федор Алексеевич Кульков не может сейчас за границу выехать — сидит, сердечный друг, за свой опыт. Нет пророка в отечестве своем.

А против бюрократизма Федор Кульков такой острый способ придумал.

Кульков, видите ли, в одну многоуважаемую канцелярию ходил очень часто. По одному своему делу. И не то он месяц ходил, не то два. Ежедневно. И все никаких результатов. То есть не обращают на него внимания бюрократы, хоть плачь. Не отыскивают ему его дела. То в разные этажи посылают. То «завтраками» кормят. То просто в ответ грубо сморкаются.

Конечно, ихнее дело тоже хамское. К ним, бюрократам, тоже на день, может, по сто человек с глупыми вопросами лезет. Тут поневоле нервная грубость образуется.

А только Кульков не мог входить в эти интимные подробности и ждать больше.

Он думает:

«Ежели сегодня дела не окончу, то определенно худо. Затаскают еще свыше месяца. Сейчас,— думает,— возьму кого-нибудь из канцелярского персонала и смажу слегка по морде. Может, после этого факта обратят на меня благосклонное внимание и дадут делу ход».

Заходит Федор Кульков на всякий случай в самый нижний, подвальный этаж,— мол, если кидать из окна будут, чтоб не шибко разбиться. Ходит по комнатам.

И вдруг видит такую возмутительную сцену. Сидит у стола на венском стуле какой-то средних лет бюрократ. Воротничок чистый. Галстук. Манжетки. Сидит и абсолютно ничего не делает. Больше того,— сидит, развалившись на стуле, губами немножко свистит и ногой мотает.

Это последнее просто вывело из себя Федора Кулькова.

«Как, думает, государственный аппарат, кругом портреты висят, книги лежат, столы стоят, и тут наряду с этим мотанье ногой и свист — форменное оскорбление!»

Федор Кульков очень долго глядел на бюрократа — возбуждался. После подошел, развернулся и дал, конечно, слегка наотмашь в морду.

Свалился, конечно, бюрократ со своего венского стула.

И ногой перестал мотать. Только орет остро.

Тут бюрократы, ясное дело, сбежались со всех сторон — держать Кулькова, чтоб не ушел.

Битый говорит:

— Я, говорит, по делу пришедши, с утра сижу. А ежели еще натощак меня по морде хлопать начнут в государственном аппарате, то покорнейше благодарю, не надо, обойдемся без этих фактов.

Федор Кульков, то есть, до чрезвычайности удивился.

— Я, говорит, прямо, товарищи, не знал, что это посетитель пришедши, я думал, просто бюрократ сидит. Я бы его не стал стегать.

Начальники орут:

— Отыскать, туды-сюды, кульковское дело!

Битый говорит:

— Позвольте, пущай тогда и на меня обратят внимание. Почему же такая привилегия бьющему? Пущай и мое дело разыщут. Фамилия Обрезкин.

— Отыскать, туды-сюды, и Обрезкино дело!

Побитый, конечно, отчаянно благодарит Кулькова, ручки ему жмет:

— Морда, говорит, дело наживное, а тут по гроб жизни вам благодарен за содействие против волокиты.

Тут быстрым темпом составляют протокол, и в это время кульковское дело приносят. Приносят его дело, становят на нем резолюцию и дают совершенно законный ход.

Битому же отвечают:

— Вы, говорят, молодой человек, скорей всего ошиблись учреждением. Вам, говорят, скорей всего в собес нужно, а вы, говорят, вон куда пришедши.

Битый говорит:

— Позвольте же, товарищи! За что же меня, в крайнем случае, тогда по морде били? Пущай хоть справку дадут: мол, такого-то числа, действительно, товарищу Обрезкину набили морду.

Справку Обрезкину отказали дать, и тогда, конечно, он полез к Федору Кулькову драться. Однако его вывели, и на этом дело захлохло.

Самого же Кулькова посадили на две недели, но зато дело его благоприятно и быстро кончилось без всякой волокиты.

1927

МЕЛКИЙ СЛУЧАЙ

Конечно, случай этот мелкий, не мирового значения. Некоторые людишки очень даже свободно не поймут, в чем тут дело.

Нэпман, например, у которого, может, в каждом жилетном кармане серебро гремит, тоже навряд ли разберется в этом происшествии.

Зато поймет это дело простой рабочий человек, который не гребет деньги лопатой. Такой человек поймет и очень даже горячо посочувствует Василию Ивановичу.

Дело в том, что Василий Иванович купил билет в театр.

В день получки Вася специально зашел в театр и, чтобы зря не растратиться, купил заблаговременно билет в шестнадцатом ряду.

Человек давно мечтал провести вечер в культурном общежитии. И в силу этого целковый отдал, не моргнув глазом. Только языком чуть щелкнул, когда кассир монету загребал...

А к этому спектаклю Василий Иванович очень серьезно готовился. Помылся, побрился, галстук привязал.

Ох-ох, Василий Иванович, Василий Иванович! Чувствовало ли твое благородное сердце житейский подвох? Предвидел ли ты все мелочи жизни? Не дрогнула ли у тебя стальная рука, привязывая галстук?

Ох-ох, грустные дела, скучные дела происходят на свете!

А в день спектакля Василий Иванович в очень радостно-веселом настроении пошел в театр.

«Другие, думает, людишки, нет на них погибели, в пивные ходят или в пьяном угаре морды об тумбу друг другу разбивают. А тут идешь себе в театр. С билетом. Тепло, уютно, интеллигентно. И цена за все — рубль».

Пришел Василий Иванович в театр минут за двадцать.

«Пока, думает, то да се, пока разденусь, да схожу оправиться, да галстук потуже привяжу — оно в аккурат и будет».

Начал наш милый товарищ Василий Иванович раздеваться — глядит, на стене объявление: двадцать копеек с персоны за раздеванье.

Екнуло у Василия Ивановича сердце.

«Нету, думает, у меня таких денег. За билет — да, действительно сполна уплачено. А больше нету. Копеек восемь, должно быть, набежит. Если, думает, за эту сумму не пристрою одежу, то худо. Придется в пальто и галошах переть и на шапке сидеть».

Разделся наш сердечный друг Василий Иванович. Подает одежду с галошами за барьер.

— Извини, говорит, дядя, мелких мало. Прими в руку что есть, не считая.

А при вешалке, как раз наоборот, попался человек циничный. Он сразу пересчитал мелкие.

— Ты, говорит, что ж это, собачья кровь, шесть копеек мне в руку кладешь? Я, говорит, за это могу тебя галошей по морде ударить.

Тут сразу между ними ссора произошла. Крик.

Вешальщик орет:

— Да мне, может, за эти мелкие противно за твоими галошами ухаживать. Отойди от моей вешалки, не то я за себя не ручаюсь.

Василий Иванович говорит:

— Ты, зараза, не ори на меня. Не подрывай авторитета в глазах буржуазии. Прими одежу, как есть, я тебе завтра занесу остатние.

Вешальщик говорит:

— Ты меня буржуями не стращай. Я, говорит,

не испугался. Отойди от моей вешалки на пушечный выстрел, арапская твоя личность.

Тут, конечно, другие вешальщики начали обсуждать эпизод. Дискуссия у них поднялась — дескать, можно ли шесть копеек в руку совать.

А время, конечно, идет. Последние зрители бегут в зал. Акт начинается.

Васин вешальщик орет за своим барьером:

— Пущай, говорит, этот паразит в другой раз со своей вешалкой приходит. Пущай, говорит, сам вешает и сам сторожит.

Василий Иванович чуть не заплакал от обиды.

— Ах ты, говорит, старая морда, верзила-мученик. Да я, говорит, за эти выражения могу тебе всю бороду выдернуть.

Тут Василий Иванович поскорей надел пальто, положил галоши в шапку и бросился к дверям. Бросился к дверям — не пущают в одеже.

— Братцы,— говорит Василий Иванович,— милые товарищи, билет же, глядите, вот у меня в руке. Оторвите от него корешок и пропустите.

Нет, не пускают.

Тут, действительно, Василий Иванович прямо заметался. Спектакль идет. Музыка раздается. Билет в руке. И пройти нельзя.

Поскорее разделся Василий Иванович, завернул одежду в узел. Ткнулся с узлом в дверь — не дозволяют.

— Вы бы, говорят, еще перину с собой принесли.

А время идет. Музыка гремит. Антракт начинается.

Василий Иванович совершенно упал духом. Бросился до своего вешальщика.

— Ах ты, говорит, распродажная твоя личность! Глядите, какую харю наел, ухаживая за нэпом.

Еще немного — и произошла бы некрасивая стычка. Но, спасибо, другие вешальщики разняли.

Один старенький, наиболее добродушный вешальщик говорит Василию Ивановичу:

— Прямо, говорит, очень жалко на тебя глядеть, как ты расстраиваешься. Вешай ко мне задаром. Только, говорит, завтра, Христа ради, не позабудь принести.

Василий Иванович говорит:

— Чего мне теперь вешать, раз второе действие идет. Я, говорит, все равно теперь ни хрена не пойму. Я, говорит, не привык пьесы с конца глядеть.

Начал Василий Иванович продавать свой билет кому попало. С трудом продал за гривенник одному беспризорному. Плюнул в сторону своего вешальщика и вышел на улицу.

1927

ЦАРСКИЕ САПОГИ

В этом году в Зимнем дворце разное царское барахлишко продавалось. Музейный фонд, что ли, этим торговал. Я не знаю кто.

Я с Катериной Федоровной Коленкоровой ходил туда. Ей самовар нужен был на десять персон.

Самовара, между прочим, там не оказалось. Или царь пил из чайника, или ему носили из кухни в каком-нибудь граненом стакане, я не знаю, только самовары в продажу не поступили.

Зато других вещей было множество. И вещи действительно все очень великолепные. Разные царские портьеры, бордюры, разные рюмочки, плевательницы, сорочки и другие разные царские штучки. Ну прямо глаза разбегаются, не знаешь, за что схватиться и какую вещь приобрести.

Тогда Катерина Федоровна на свободные деньги купила, заместо самовара, четыре сорочки из тончайшего мадаполама. Очень роскошные. Царские.

Я же вдруг увидел в описи сапоги. Русское голенище, восемнадцать целковых.

Я сразу спросил у артельщика, который торговал:

— Какие это сапоги, любезный приятель?

Он говорит:

— Обыкновенно какие — царские.

— А какая, говорю, мне гарантия, что это царские? Может, говорю, какой-нибудь капельдинер трепал, а вы их заместо царских выдаете. Это, говорю, нехорошо, неприлично.

— Тут кругом все имущество царской фамилии. Мы, говорит, дерьмом не торгуем.

— Покажи, говорю, товар.

Поглядел я сапоги. Очень мне ужасно понравились. И размер подходящий. И такие они не широкие, узенькие, опрятные. Тут носок, тут каблук. Ну прямо цельные сапоги. И вообще мало ношенные. Может, только три дня царь их носил. Подметка еще не облупилась.

— Господи, говорю, Катерина Федоровна, да разве, говорю, раньше можно было мечтать насчет царской обуви? Или, например, в царских сапогах по улице пройтись? Господи, говорю, как история меняется, Катерина Федоровна!

Восемнадцать целковых отдал за них, не горюя. И, конечно, за царские сапоги эта цена очень и очень небольшая.

Выложил восемнадцать целковых и понес эти царские сапоги домой.

Действительно, обувать их было трудно. Не говоря про портянку, на простой носок и то еле лезут. «Все-таки, думаю, разношу».

Три дня разнашивал. На четвертый день вдруг подметка отлипла. И не то чтобы одна подметка, а так полностью вместе с каблуком весь нижний этаж отвалился. Даже нога наружу вышла.

А случилось это поганое дело на улице, на бульваре Союзов, не доходя Дворца труда. Так и попер домой на Васильевский остров без подметки.

Главное, денег было очень жалко. Все-таки восемнадцать целковых. И пожаловаться некуда. Ну будь эти сапоги фабрики «Скороход» или какой-нибудь другой фабрики — другой вопрос. Можно было бы дело возбудить или красного директора с места погнать за такую техническую слабость. А тут, извольте, царские сапоги.

Конечно, на другой день сходил в Музейный фонд. А там уже и торговать кончили — закрыто.

Хотел в Эрмитаж смотаться или еще куда-нибудь, но после рукой махнул. Главное, Катерина Федоровна меня остановила.

— Это, говорит, не только царский, любой королевский сапог может за столько лет прогнить. Все-таки, как хотите, со дня революции десять

лет прошло. Нитки, конечно, сопреть могли за это время. Это понимать надо.

А действительно, братцы мои, десять лет протекло. Шутка ли! Товар и тот распадаться начал.

И хотя Катерина Федоровна меня успокоила, но когда, между прочим, после первой стирки у нее эти самые царские дамские сорочки полезли в разные стороны, то она очень ужасно крыла царский режим.

А вообще, конечно, десять лет прошло — смешно обижаться.

Время-то как быстро идет, братцы мои!

1927

СВАДЬБА

Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был такой грешок.

Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже и не видел. Потому все главные события на улице развернулись.

А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он не раздеваясь представлялся. В прихожей. Так сказать, на ходу.

А познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае. Дней за пять до брака. Сидит он в трамвае и вдруг видит,— перед ним этакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая. В зимнем пальто.

И стоит эта самая барышня в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок рукой держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет к груди прижимает. А в трамвае, конечно, давка. Пихаются. Стоять, прямо сказать, нехорошо.

Вот Володька ее и пожалел.

— Присаживайтесь, говорит, ко мне на одно колено, все легче ехать.

— Да нет, говорит, мерси.

— Ну, так, говорит, давайте тогда пакет. Кладите мне на колени, не стесняйтесь. Все легче будет стоять.

Нет, видит, и пакета не отдает. Или пугается, чтоб не упер. Или еще что.

Глянул на нее Володя Завитушкин еще раз и прямо обалдел. «Господи, думает, какие миловидные барышни в трамваях ездиют».

Едут так они две остановки. Три. Четыре. Наконец видит Завитушкин,— барышня к выходу тискается. Тоже и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось.

Познакомились. Пошли вместе. И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через два дня Володька Завитушкин и предложенье ей сделал.

Или она сразу согласилась, или нет, но только на третий день пошли они в гражданский подотдел и записались. Записались они в загсе, а после записи и развернулись главные события.

После записи пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха. Стол накрывают. Гостей много. И вообще семейное торжество — молодых ждут.

И какие-то разные барышни и кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят и пробки открывают.

А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду.

Сразу его, как на грех, обступили разные мамаши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, расспрашивают, в каком, дескать, союзе находится.

Только видит Володька — не разобрать ему, где его молодая жена. Девиц в комнате много. Все вертятся, все мотаются, ну, прямо с улицы, со свету, хоть убей не разобрать.

«Господи,— думает Володька,— никогда ничего подобного со мной не происходило. Какая же из них моя молодая супруга?»

Стал он по комнате ходить между девиц. То к одной толкнется, то к другой. А те довольно неохотно держатся и особой радости не выказывают.

Тут Володька немного даже испугался.

«Вот, думает, на чем засыпался,— жену уж не могу найти».

А тут еще родственники начали коситься — чего это молодой ходит, как ненормальный, и на всех девиц бросается. Стал Володька к двери и стоит в полном упадке.

«Ну, спасибо, думает, если сейчас за стол садиться будут. Тогда, может, что-нибудь определится. Которая со мной сядет, та, значит, и есть. Хотя бы, думает, вот эта белобрысенькая села. А то, ей-богу, подсунут какое-нибудь дерьмо, потом живи с ним».

В это время гости начали за стол садиться.

Мамаша Христом-богом просит обождать еще немного, не садиться. Но на гостей прямо удержу нету, прямо кидаются на жратву и на выпивку.

Тут Володю Завитушкина волокут на почетное место. И рядом с ним с одного боку сажают девицу.

Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце.

«Ишь ты, думает, какая. Прямо, думает, недурненькая. Без всякой шляпки ей даже лучше. Нос не так уж просится наружу».

От полноты чувств Володя Завитушкин нацедил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться.

Но тут и развернулись главные события.

Начали раздаваться крики и разные вопли.

— Это, кричат, какой-то ненормальный, сукин сын. На всех девиц кидается. Молодая супруга еще к столу не вышедши — прибирается, а он с другой начал упражняться.

Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха.

Володьке бы, конечно, в шутку все превратить. А он очень обиделся. Его в суматохе какой-то родственник бутылкой тиснул по затылку.

Володька кричит:

— А пес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся.

Тут невеста в белом балахоне является. И цветы сбоку.

— Ах так, говорит, ну, так это вам выйдет боком.

И опять, конечно, вопли, крики и истерика.

Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры.

Володька говорит:

— Дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравши по такой канители.

Но родственники поднажали и ссыпали Володьку на лестницу.

На другой день Володя Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся.

Там даже не удивились.

— Это, говорят, ничего, бывает.

Так и развели.

1927

ГАЛОША

Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно.

Особенно, если сбоку поднажмут да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит,— вот вам и нет галоши.

Галошу потерять прямо пустяки.

С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел.

В трамвай вошел — обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая — гляжу, одна галоша здесь, на ноге, а другой нету. Сапог — здесь. И носок, гляжу, здесь. И подштанники на месте. А галоши нету.

А за трамваем, конечно, не побежишь.

Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так.

После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать же товару! Где-нибудь да раскопаю.

После работы пошел искать. Первое дело — посоветовался с одним знакомым вагоновожатым.

Тот прямо вот как меня обнадежил.

— Скажи, говорит, спасибо, что в трамвае потерял. В другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело.

— Ну, говорю, спасибо. Прямо гора с плеч. Главное, галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу.

На другой день иду в камеру.

— Нельзя ли, говорю, братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли.

— Можно, говорят. Какая галоша?

— Галоша, говорю, обыкновенная. Размер — двенадцатый номер.

— У нас, говорят, двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.

— Приметы, говорю, обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка.

— У нас, говорят, таких галош, может, больше тыщи. Нет ли специальных признаков?

— Специальные, говорю, признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится. И каблука, говорю, почти что нету. Сносился каблук. А бока, говорю, еще ничего, пока что удержались.

— Посиди, говорят, тут. Сейчас посмотрим.

Вдруг выносят мою галошу.

То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился. Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю, идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши.

Я им говорю:

— Спасибо, говорю, друзья, по гроб жизни. Давайте поскорей ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас.

— Нету, говорят, уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, говорят, не знаем, может, это не вы потеряли.

— Да я же, говорю, потерял. Могу дать честное слово.

Они говорят:

— Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял.

Я говорю:

— Братцы, говорю, святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги.

Они отвечают:

— Дадут, говорят, это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?

Поглядел я еще раз на галошу и вышел.

На другой день пошел к председателю нашего дома, говорю ему:

— Давай бумагу. Галоша гибнет.

— А верно, говорит, потерял? Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?

— Ей-богу, говорю, потерял.

Он говорит:

— Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял,— тогда бы я тебе выдал бумагу. А так не могу.

Я говорю:

— Так они же меня к вам посылают.

Он говорит:

— Ну тогда пиши заявление.

Я говорю:

— А что там написать?

Он говорит:

— Пиши: сего числа пропала галоша. И так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения.

Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил.

Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу.

Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают! Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да и выкинули бы ее — только и делов. А тут, неделю не хлопотал, выдают обратно.

Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее под мышкой, в пакете, и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну где ее искать?

Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил.

Другой раз станет скучно, взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится.

Вот, думаю, славно канцелярия работает!

Сохраню эту галошу на память. Пущай потомки любуются.

1927

БАРЕТКИ

Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени, а сапожонок, конечно, нету.

Вот Трофимыч поскрипел зубами — мол, такой расход,— взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо — и товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, двенадцать целковых!

А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки — рубля за полтора, два.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Нюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине спросили червонец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, куда ни придут — та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы — расхождение и вообще Нюшкин рев.

В пятом магазине Нюшка примерила сапоги — хороши. Спросили цену: девять целковых, и никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтобы ему скостили рубля три-четыре, а в это время Нюшка в новых сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал.

— Прежде, говорит, заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.

— Сейчас, говорит, ребенок, может быть, явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.

Заведующий говорит:

— Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньги. Или с магазина не выходите.

Трофимыч отвечает:

— Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится.

Но только Нюшка не вернулась.

Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла.

«А то, думает, папаня как пить дать обратно не купит по причине все той же дороговизны».

Так и не вернулась.

Нечего делать — заплатил Трофимыч сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой.

А Нюшка была уже дома и щеголяла в своих новых баретках.

Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили: в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу.

А правый сапог теперь прячется куда-нибудь, или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли.

Поколение, я говорю, довольно свободное.

1927

ОПЕРАЦИЯ

Эта маленькая грустная история произошла с товарищем Петюшкой Ящиковым. Хотя как сказать — маленькая! Человека чуть не зарезали. На операции.

Оно, конечно, до этого далеко было. Прямо очень даже далеко. Да и не такой этот Петька, чтобы мог допустить себя свободно зарезать. Прямо скажем: не такой это человек. Но история всетаки произошла с ним грустная.

Хотя, говоря по совести, ничего такого грустного не произошло. Просто не рассчитал человек. Не сообразил. Опять же на операцию в первый раз явился. Без привычки.

А началась у Петюшки пшенная болезнь. Верхнее веко у него на правом глазу начало раздувать. И за три года с небольшим раздуло прямо в чернильницу.

Смотался Петя Ящиков в клинику. Докторша ему попалась молодая, интересная особа.

Докторша эта ему говорила:

— Как хотите. Хотите — можно резать. Хотите — находитесь так. Эта болезнь не смертельная. И некоторые мужчины, не считаясь с общепринятой наружностью, вполне привыкают видеть пред собой все время этот набалдашник.

Однако, красоты ради, Петюшка решился на операцию. Тем более и докторша ему понравилась. И вот он взял и согласился.

Тогда велела ему докторша прийти завтра.

Назавтра Петюшка Ящиков хотел было заскочить на операцию сразу после работы. Но после думает:

«Дело это хотя глазное и наружное, и операция, так сказать, не внутренняя, но пес их знает — как бы не приказали костюм раздеть. Медицина — дело темное. Не заскочить ли, в самом деле, домой — переснять нижнюю рубаху?»

Побежал Петюшка домой.

Главное, что докторша молодая. Охота была Петюшке пыль в глаза пустить — дескать, хотя снаружи и не особо роскошный костюм, но зато, будьте любезны, рубашечка — чистый мадаполам.

Одним словом, не хотел Петя врасплох попасть.

Заскочил домой. Надел чистую рубаху. Шею бензином вытер. Ручки под краном сполоснул. Усики кверху растопырил. И покатился.

Докторша говорит:

— Вот это операционный стол. Вот это ланцет. Вот это ваша пшенная болячка. Сейчас я вам все это сделаю. Снимите сапоги и ложитесь на этот операционный стол.

Петюшка слегка даже растерялся.

«То есть, думает, прямо не предполагал, что сапоги снимать. Это же форменное происшествие. Ой-ой, думает, носочки-то у меня неинтересные, если не сказать хуже».

Начал Петюшка Ящиков все-таки свою китель сдирать, чтоб, так сказать, уравновесить другие нижние недостатки.

Докторша говорит:

— Китель оставьте трогать. Не в гостинице. Снимите только сапоги.

Начал Петюшка хвататься за сапоги, за свои джимми. После говорит:

— Прямо, говорит, товарищ докторша, не знал, что с ногами ложиться. Болезнь глазная, верхняя — не предполагал. Прямо, говорит, товарищ докторша, рубашку переменил, а другое, извиняюсь, не трогал. Вы, говорит, на них не обращайте внимания во время операции.

Докторша, утомленная высшим образованием, говорит:

— Ну валяй скорей. Время дорого.

А сама сквозь зубы хохочет.

Так и резала ему глаз. Режет и хохочет. На ногу посмотрит и от смеха задыхается. Аж рука дрожит.

А могла бы зарезать со своей дрожащей ручкой!

Разве можно так человеческую жизнь подвергать опасности?

Но, между прочим, операция кончилась прекрасно. И глаз у Петюшки теперь без набалдашника.

1927

ГРИМАСА НЭПА

На праздники я обыкновенно в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.

Главное, что в Лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на голову ставят. Не только бронхит — душевную болезнь получить можно.

Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками. Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.

Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.

Старуха, значит, впереди идет — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:

— Неси,— кричит,— ровней корзину-то. Просыплешь чего-то там такое... Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чертова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу-ты, я говорю, дьявол какой!

Только видят пассажиры — действия гражданина не настоящие, форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.

Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие — дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменное безобразие.

— Это, говорят, эксплуатация трудящихся! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.

Вдруг один наиболее из всех нервный гражданин подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.

— Это, говорит, невозможно допущать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.

То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.

— Позвольте, говорит, может быть, никакой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, говорит, оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса.

Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша, а не домработница.

Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался.

— А пес, говорит, ее разберет! На ней афиша не наклеена — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит:

— Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.

До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.

— Это, говорит, проехаться не дадут — сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть. Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особенные... А может быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде.

Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.

1927

ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

Лиговский поезд никогда шибко не едет. Или там путь не дозволяет, или семафоров очень много наставлено — сверх нормы,— я этого не знаю. Но только ход поезда удивительно медленный. Прямо даже оскорбительно ехать. И, конечно, через такой ход в вагоне бывает ужасно как скучно. Прямо скажем — делать нечего.

На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся еще. «Чего, скажут, смотришь? Не узнал?»

А своим делом заняться тоже не всегда можно. Читать, например, нельзя. Лампочки особо мутные. И ужасно высоко присобачены. Прямо как угольки сверху светят, а радости никакой.

Хотя насчет лампочки это зря сказано. Эта веселенькая история произошла днем. Но оно и днем скучно ехать.

Так вот, в субботу днем в вагоне для некурящих пассажиров ехала Феклуша, Фекла Тимофеевна Разуваева. Она из Лигова до Ленинграда ехала за товаром. Она яблоками и семечками торгует в Лигове на вокзале.

Так вот, эта самая Феклуша поехала себе на Щукин. На Щукин рынок. Ей охота была приобрести ящик браку антоновки.

И присела она с Лигова у окошка и поехала. Едет и едет.

А напротив ее едет Федоров Никита. Рядом, конечно, Анна Ивановна Блюдечкина — совслужащая из соцстраха. Все лиговские. На работу едут.

А вскоре после Лигова еще новый пассажир входит. Военный.

Он до этого времени на площадке ехал. И садится он наискось от Феклы Тимофеевны Разуваевой. Садится он наискось и едет.

Фекла Тимофеевна, пущай ей будет полное здоровье и благополучие, развязала косынку и, развязавши, стала свободно размышлять на торговые темы, мол, сколько в ящике может быть антоновки и так далее.

После поглядела она в окно. А после, от полной скуки, стала Фекла Тимофеевна подремывать. То ли в теплом вагоне ее, милую, развезло, или скучные картины природы на нее подействовали, но только начала Фекла Тимофеевна клевать носом. И зевнула.

Первый раз зевнула — ничего. Второй раз зевнула во всю ширь — аж все зубы можно пересчитать. Третий раз зевнула еще послаще. А военный, который наискось сидел, взял и добродушно сунул ей палец в рот. Пошутил. Ну, это часто бывает — кто-нибудь зевнет, а ему палец в рот. Но, конечно, это бывает между, скажем, настоящими друзьями, заранее знакомыми или родственниками со стороны жены. А этот совершенно незнакомый. Фекла Тимофеевна в первый раз его видит.

По этой причине Фекла Тимофеевна, конечно, испугалась. И, с перепугу, поскорей захлопнула свой чемодан. И при этом довольно сильно тяпнула военного за палец зубами.

Ужасно тут закричал военный. Начал кричать и выражаться. Мол, палец ему почти начисто оттяпали. Тем более что палец совершенно не оттяпали, а просто немного захватили зубами. И крови-то почти не было — не больше полстакана.

Началась легкая перебранка. Военный говорит:

— Я, говорит, ну, просто пошутил. Если бы, говорит, я вам язык оторвал или что другое, тогда кусайте меня, а так, говорит, я не согласен. Я, говорит, военнослужащий и не могу дозволить пассажирам отгрызать свои пальцы. Меня за это не похвалят.

Фекла Тимофеевна говорит:

— Ой! Если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня за язык хватают.

Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать — дескать, может, и палец-то черт знает какой грязный, и черт знает за что брался,— нельзя же такие вещи строить — негигиенично.

Но тут ихняя дискуссия была нарушена — подъехали к Ленинграду. Фекла Тимофеевна еще слегка полаялась со своим военным и пошла на Щукин.

1927

КОШКА И ЛЮДИ

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья завсегда угорает через нее. А чертов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной растраты.

Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда вовнутрь головой.

— Нету, говорят. Жить можно.

— Товарищи, говорю, довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы завсегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно.

Председатель жакта говорит:

— Тогда, говорит, устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим — ваше счастье — переложим. Ежли не угорим — извиняемся за отопление.

Затопили мы печку. Расположились вокруг ее. Сидим. Нюхаем.

Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати,— казначей.

Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.

Председатель понюхал и говорит:

— Нету. Не ощущается. Идет теплый дух, и только.

Казначей, жаба, говорит:

— Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня, говорит, в квартире атмосфера хуже воняет, и я, говорит, не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.

Я говорю:

— Да как же, помилуйте,— ровный. Эвон как газ струится.

Председатель говорит:

— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.

Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она несколько привыкшая.

— Нету,— говорит председатель,— извиняемся.

Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:

— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.

И сам подходит до окна и в щелку дышит.

И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается. Председатель говорит:

— Сейчас все пойдем.

Я оттянул его от окна.

— Так, говорю, нельзя экспертизу строить. Он говорит:

— Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.

А через полчаса, когда этого самого председателя ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я опять с ним разговорился.

Я говорю:

— Ну как?

— Да нет, говорит, не будет ремонта. Жить можно.

Так и не починили.

Ну что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

1927

ШАПКА

Только теперича вполне чувствуешь и понимаешь, насколько мы за десять лет шагнули вперед!

Ну взять любую сторону нашей жизни — то есть во всем полное развитие и счастливый успех.

А я, братцы мои, как бывший работник транспорта, очень наглядно вижу, чего, например, достигнуто и на этом довольно-таки важном фронте.

Поезда ходят взад и вперед. Гнилые шпалы сняты. Семафоры восстановлены. Свистки свистят правильно. Ну прямо приятно и благополучно ехать.

А раньше! Да, бывало, в том же восемнадцатом году. Бывало, едешь, едешь — вдруг полная остановка. Машинист, значит, кричит с головы состава: дескать, сюды, братцы.

Ну соберутся пассажиры.

Машинист им говорит:

— Так и так. Не могу, робя, дальше идтить по причине топлива. И если, говорит, кому есть интерес дальше ехать — вытряхайся с вагонов и айда в лес за дровами.

Ну, пассажиры побранятся, поскрипят, мол, какие нововведения, но все-таки идут до лесу пилить и колоть!

Напилят полсажени дров и далее двигаются. А дрова, ясное дело, сырые, чертовски шипят и едут плохо.

А то, значит, вспоминается случай — в том же девятнадцатом году. Едем мы этаким скромным образом до Ленинграду. Вдруг резкая остановка на полпути. Засим — задний ход и опять остановка.

Значит, пассажиры спрашивают:

— Зачем остановка, к чему это все время задний ход? Или, боже мой, опять идти за дровами,— машинист разыскивает березовую рощу? Или, может быть, бандитизм развивается?

Помощник машиниста говорит:

— Так и так. Произошло несчастье. Машинисту шапку сдуло, и он теперича пошел ее разыскивать.

Сошли пассажиры с состава, расположились на насыпи.

Вдруг видят, машинист из лесу идет. Грустный такой. Бледный. Плечами пожимает.

— Нету, говорит, не нашел. Пес ее знает, куда ее сдуло.

Поддали состав еще на пятьсот шагов назад. Все пассажиры разбились на группы — ищут.

Минут через двадцать один какой-то мешочник кричит:

— Эй, черти, сюда! Эвон где она.

Видим, действительно, машинистова шапка, зацепившись, на кустах висит.

Машинист надел свою шапку, привязал ее к пуговице шпагатом, чтоб обратно не сдуло, и стал разводить пары.

И через полчаса благополучно тронулись.

Вот я и говорю. Раньше было полное расстройство транспорта.

А теперь не только шапку — пассажира сдунет, и то остановка не более одной минуты.

Потому — время дорого. Надо ехать.

1927

НАУЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Давеча у нас в Гавани какая интересная история развернулась.

Иду по улице. Вижу — народ собирается около пустыря.

— Что такое?— спрашиваю.

— Так что, говорят, странное подземное явление, товарищ. Не землетрясение, нет, но какая-то подземная сила народ дергает. Нету никакой возможности гражданам вступать на этот боевой участок, около этой лужи. Толчки происходят.

А тут ребята дурака валяют — пихают прохожих до этого опасного участка. Меня тоже, черти, пихнули.

И всех, которые вступают, отчаянно дергает. Ну, прямо устоять нет никакой возможности, до того пронизывает.

Тут один какой-то говорит:

— Скорей всего это кабель где-нибудь лопнувши — ток сквозь сырую землю проходит. Ничего удивительного в этом факте нету.

Другой тоже говорит:

— Я сам бывший электротехник. Давеча я сырой рукой за выключатель схватился, так меня так дернуло — мое почтение. Это вполне научное явление, около лужи.

А народу собралось вокруг этого факта много.

Вдруг милиционер идет.

Публика говорит:

— Обожди, братцы. Сейчас мы его тоже втравим. Пущай его тоже дернет.

Подходит милиционер до этого злополучного участка.

— Что, говорит, такое? Какое такое подземное явление? А ну расходись...

И сам прет по незнанию в самый опасный промежуток. Вступает он ногами на этот промежуток, и вдруг видим — ничего, не дергает милиционера.

Тут прямо в первую минуту население обалдело. Потому всех дергает, а милицию не дергает. Что такое? Неужели наука дает такую курскую аномалию в своих законах?

Милиционер строгой походкой проходит сквозь весь участок и разгоняет публику.

Тут один какой-то кричит:

— Так он, братцы, в калошах! Резина же не имеет права пропущать энергию.

Ничего на это милиционер не сказал, только строго посмотрел на население, скинул свои калоши и подошел к луже. Тут у лужи его и дернуло!

После этого народ стал спокойно расходиться. А вскоре прибыл электротехник и начал ковырять землю.

А милиционер еще раз, когда народ разошелся, подошел без калош до этого участка, но его снова дернуло.

Тогда он покачал головой — дескать, научное явление, и пошел стоять на свой перекресток.

1927

ЗАКОРЮЧКА

Вчера пришлось мне в одно очень важное учреждение смотаться. По своим личным делам.

Перед этим, конечно, позавтракал поплотней для укрепления духа. И пошел.

Прихожу в это самое учреждение. Отворяю дверь. Вытираю ноги. Вхожу по лестнице. Вдруг сзади какой-то гражданин в тужурке назад кличет. Велит обратно спущаться.

Спустился обратно.

— Куда, говорит, идешь, козлиная твоя голова?

— Так что, говорю, по делам иду.

— А ежли, говорит, по делам, то прежде, может быть, пропуск надо взять. Потом наверх соваться. Это, говорит, тут тебе не Андреевский рынок. Пора бы на одиннадцатый год понимать. Несознательность какая.

— Я, говорю, может быть, не знал. Где, говорю, пропуска берутся?

— Эвон, говорит, направо в окне.

Подхожу до этого маленького окна. Стучу пальцем. Голос, значит, раздается:

— Чего надо?

— Так что, говорю, пропуск.

— Сейчас.

В другом каком-нибудь заграничном учреждении на этой почве развели бы форменную волокиту, потребовали бы документы, засняли бы морду на фотографическую карточку. А тут даже в личность не посмотрели. Просто голая рука высунулась, помахала и подает пропуск.

Господи, думаю, как у нас легко и свободно жить и дела обделывать! А говорят: волокита. Многие беспочвенные интеллигенты на этом даже упадочные теории строят. Черт их побери! Ничего подобного.

Выдали мне пропуск.

Который в тужурке говорит:

— Вот теперича проходи. А то прет без пропуска. Этак может лишний элемент пройти. Учреждение опять же могут взорвать на воздух. Не Андреевский рынок. Проходи теперича.

Смотался я с этим пропуском наверх.

— Где бы, говорю, мне товарища Щукина увидеть?

Который за столом подозрительно говорит:

— А пропуск у вас имеется?

— Пожалуйста, говорю, вот пропуск. Я законно вошел. Не в окно влез.

Поглядел он на пропуск и говорит более вежливо:

— Так что товарищ Щукин сейчас на заседании. Зайдите лучше всего на той неделе. А то он всю эту неделю заседает.

— Можно, говорю. Дело не волк — в лес не убежит. До приятного свидания.

— Обождите, говорит, дайте сюда пропуск, я вам на ем закорючку поставлю для обратного прохода.

Спущаюсь обратно по лестнице. Который в тужурке говорит:

— Куда идешь? Стой!

Я говорю:

— Братишка, я домой иду. На улицу хочу пройти из этого учреждения.

— Предъяви пропуск.

— Пожалуйста, говорю, вот он.

— А закорючка на ем имеется?

— Определенно, говорю, имеется.

— Вот, говорит, теперича проходи.

Вышел на улицу, съел французскую булку для подкрепления расшатанного организма и пошел в другое учреждение по своим личным делам.

1927

БОЛЬНЫЕ

Человек — животное довольно странное. Нет, навряд ли оно произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе слегка заврался.

Очень уж у человека поступки — совершенно, как бы сказать, чисто человеческие. Никакого, знаете, сходства с животным миром. Вот если животные разговаривают на каком-нибудь своем наречии, то вряд ли они могли бы вести такую беседу, как я давеча слышал.

А это было в лечебнице. На амбулаторном приеме. Я раз в неделю по внутренним болезням лечусь. У доктора Опушкина. Хороший такой, понимающий медик. Я у него пятый год лечусь. И ничего, болезнь не хуже.

Так вот, прихожу в лечебницу. Записывают меня седьмым номером. Делать нечего — надо ждать.

Вот присаживаюсь в коридоре на диване и жду.

И слышу — ожидающие больные про себя беседуют. Беседа довольно тихая, вполголоса, без драки.

Один такой дядя, довольно мордастый, в коротком полупальто, говорит своему соседу:

— Это, говорит, милый ты мой, разве у тебя болезнь — грыжа. Это плюнуть и растереть — вот вся твоя болезнь. Ты не гляди, что у меня морда выпуклая. Я тем не менее очень больной. Я почками хвораю.

Сосед несколько обиженным тоном говорит:

— У меня не только грыжа. У меня легкие ослабшие. И вот еще жировик около уха.

Мордастый говорит:

— Это безразлично. Эти болезни разве могут равняться с почками!

Вдруг одна ожидающая дама в байковом платке язвительно говорит:

— Ну что ж, хотя бы и почки. У меня родная племянница хворала почками — и ничего. Даже шить и гладить могла. А при вашей морде болезнь ваша малоопасная. Вы не можете помереть через эту вашу болезнь.

Мордастый говорит:

— Я не могу помереть! Вы слыхали? Она говорит, я не могу помереть через эту болезнь. Много вы понимаете, гражданка! А еще суетесь в медицинские разговоры.

Гражданка говорит:

— Я вашу болезнь не унижаю, товарищ. Это болезнь тоже самостоятельная. Я это признаю. А я к тому говорю, что у меня, может, болезнь посерьезнее, чем ваши разные почки. У меня — рак.

Мордастый говорит:

— Ну что ж — рак, рак. Смотря какой рак. Другой рак — совершенно безвредный рак. Он может в полгода пройти.

От такого незаслуженного оскорбления гражданка совершенно побледнела и затряслась. Потом всплеснула руками и сказала:

— Рак в полгода. Видали! Ну, не знаю, какой это рак ты видел. Ишь морду-то отрастил за свою болезнь.

Мордастый гражданин хотел достойным образом ответить на оскорбление, но махнул рукой и отвернулся.

В это время один ожидающий гражданин усмехнулся и говорит:

— А собственно, граждане, чего вы тут расхвастались?

Больные посмотрели на говорившего и молча стали ожидать приема.

1928

ХАМСТВО

Я-то сам не был за границей, так что не могу вам объяснить, чего там такое происходит.

Но вот недавно мой друг и приятель из-за границы прибыл, так он много чего оригинального рассказывает.

Главное, говорит, там капитализм заедает. Там без денег прямо, можно сказать, дыхнуть не дадут. Там деньги у них на первом месте. Сморкнулся — и то гони пфенниг.

У нас деньги тоже сейчас довольно-таки часто требуются. Можно сказать: куда ни плюнь — за все вытаскивай портмоне. Но все-таки у нас гораздо как будто бы легче.

У нас, например, можно на чай не дать. Ничего такого не произойдет. Ну скривит официант морду или стулом двинет — дескать, сидел тоже, рыжий пес... И все.

А некоторые, наиболее сознательные, так и стульями двигать не станут. А только вздохнут — дескать, тоже публика.

А там у них, за границей, ежели, для примеру, на чай не дать — крупные неприятности могут произойти. Я, конечно, не был за границей — не знаю. А вот с этим моим приятелем случилось. Он в Италии был. Хотел на Максима Горького посмотреть. Но не доехал до него. Расстроился. И назад вернулся.

А все дело произошло из-за чаевых.

Или у моего приятеля денег было мало, или у него убеждения хромали и не дозволяли, но только он никому на чай не давал. Ни в ресторанах, ни в гостиницах — никому.

А то, думает, начнешь давать — с голым носом домой вернешься.

Там ведь служащего народу дьявольски много. Это у нас, скажем, сидит один швейцар у дверей и никого не беспокоит. Его даже не видно за газетой. А там, может, одну дверь тридцать человек открывают. Ну-те, попробуй всех одели!

Так что мой приятель никому не давал.

А приехал он в первую гостиницу. Приняли его там довольно аккуратно. Вежливо. Шапки сымали, когда он проходил. Прожил он в таком почете четыре дня и уехал в другой город. И на чай, конечно, никому не дал. Из принципа.

Приехал в другой город. Остановился в гостинице. Смотрит — не тот коленкор. Шапок не сымают. Говорят сухо. Нелюбезно. Лакеи морды воротят. И ничего быстро не подают.

Мой приятель думает: хамская гостиница. Возьму, думает, и перееду.

Взял и переехал он в другую гостиницу. Смотрит — совсем плохо. Только что по роже не бьют. Чемоданы роняют. Подают плохо. На звонки никто не является. Грубят.

Больше двух дней не мог прожить мой приятель и в страшном огорчении поехал в другой город.

В этом городе, в гостинице, швейцар чуть не прищемил моего приятеля дверью — до того быстро ее закрыл. Номер же ему отвели у помойки, рядом с кухней. Причем коридорные до того громко гремели ногами около его двери, что мой приятель прямо-таки захворал нервным расстройством. И, не доехав до Максима Горького, вернулся на родину.

И только перед самым отъездом случайно встретил своего школьного товарища, которому и рассказал о своих неприятностях.

Школьный товарищ говорит:

— Очень, говорит, понятно. Ты небось чаевые давал плохо. За это они тебе, наверное, минусы на чемоданы ставили. Они завсегда отметки делают. Которые дают — плюс, которые хамят — минус.

Прибежал мой приятель домой. Действительно, на левом углу чемодана — четыре черточки.

Стер эти черточки мой приятель и поехал на родину.

1928

ВЫГОДНАЯ КОМБИНАЦИЯ

В настоящее время жить как-то стало, братцы мои, очень выгодно.

С одной стороны, полная дешевка — иголка три копейки стоит. А с другой стороны, все время

какие-то выгодные комбинации случаются. Ежедневно какая-то выгода происходит. То одно, то другое. То чего-нибудь не купишь, то не пошамаешь.

А давеча, смешно сказать, двугривенный заработал. За что? За какой свободный труд? Да просто так. Постоял три часа с небольшим и заработал.

А сначала предстоял мне полный убыток.

Тетка из Тамбова ужасно жалостливое письмо прислала.

«Пришли, пишет, за ради бога, фотографическую карточку. Я, говорит, тебя все-таки на руках носила и соской кормила. И теперича двадцать девять лет не видела. Наверное, с тех пор ты очень изменился. Пришли свою карточку — охота поглядеть».

Делать, конечно, нечего. Настрочил тетке подходящий ответ, вложил в конверт фотографическую карточку, где в профиль снят, и побежал на почту это заказное письмо отправлять.

Прибежал на почту — кругом у каждого окна очередь.

— Так что, говорю, где тут заказные отправляют?

— Эвон, у того окна. Становись в эту очередь.

А очередь до двери, черт ее побери.

Встал в очередь. Начал, конечно, про тетку думать. Потом про всех родственников. Потом про знакомых. Вдруг очередь подходит.

Подаю письмо.

Почтовый служащий, блондин, говорит:

— А марки где?

Я говорю:

— У вас марки. У вас, говорю, почтовое отделение, а не у меня. Вот примите деньги.

Он говорит:

— Вы, говорит, деньги мне зря не суйте. Я, говорит, сам сунуть могу. Тут, говорит, идет как раз наоборот приемка заказной корреспонденции. А марки — второе окно налево. Пора бы на одиннадцатый год разбираться в вопросах.

Хотел я схлестнуться с этим блондином, но задние ряды, к сожалению, меня в этот момент оттиснули от окна.

Это, думаю, худо. Зря в очереди стоял. Однако делать нечего — пошел ко второму окну.

Встал в очередь. За марками. Начал, конечно, про знакомых думать. Потом про бабушку. Потом вообще о государственном строительстве. Вдруг моя очередь подходит.

Купил на шестнадцать копеек марок. Побежал до своей заказной очереди. Гляжу, она стала еще длинней. Хотел было сунуться без очереди — не разрешают, оттягивают.

Встал тогда в очередь. Начал про всякую чепуху думать. Бабушка чегой-то опять на память пришла. Вообще разные старушки в голове начали мелькать и тесниться. Вдруг подходит моя очередь.

Подаю письмо.

Служащий, блондин, прикинул письмо на весы и говорит:

— Так что письмо тяжельше обыкновенного. Что вы, туда камней напихали, что ли? Еще, говорит, прикупите копеек на пять разных марок.

Хотел я опять схлестнуться с этим блондином — опять оттеснили.

Побежал я до окошечка с марками. Стал в очередь. Купил на пятачок марок.

Побежал с марками обратно до своей заказной очереди. Встал в затылок. Стою. Отдыхаю.

Стоял, стоял — вдруг передние граждане что-то зашумели. Что такое? Так что, говорят, вечер приближается. Служащие кончают работу. Нельзя же их целый день эксплуатировать. А которая публика заказную корреспонденцию отправляет — пущай на телеграф сдает, третье окно направо.

Ринулась публика туда. Только я один не ринулся.

Я положил письмо в боковой карман, подсчитал в уме чистую прибыль от сегодняшней комбинации и пошел до дому.

1928

ИНОСТРАНЦЫ

Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан. У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы.

Некоторые иностранцы для полной выдержки монокль в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них там буржуазная жизнь довольно беспокойная. Им там буржуазная мораль не дозволяет проживать естественным образом. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курятину, знаете, кушал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень исключительно избранное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одного электричества горит, может, больше как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За горло хвататься. Ах, боже мой! Моветон и черт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную — там тоже нехорошо, неприлично. «Ага, скажут, побежал до ветру». А там этого абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался.

Начал было в горле копаться. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.

Хозяин до него обращается по-французски.

— Извиняюсь, говорит, может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, говорит, в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

— Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, говорит, не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бламанже налег. Скушал порцию.

Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся — наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за калошами под стол нырял вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

— Вези, кричит, куриная морда, в приемный покой.

Подох ли этот француз или он выжил — я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное, выжил. Нация довольно живучая.

1928

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Нэпманам, разным нашим богачам и вообще иностранным капиталистам завидовать не приходится.

Жизнь у них, безусловно, тяжелая.

У них масса лишних переживаний в связи со своими деньжатами. Приходится всю жизнь следить за своим добром, прятать, дрожать, чтоб не уперли.

Тоже и подыхать при деньгах не сладко. В ад-то с собой монету не возьмешь.

А очень такую удивительную денежную историю я слышал про одного нэпмана. История очень наглядно рисует капиталистов со всех ихних сторон. Вообще это есть отчаянная сатира, обернутая против нэпманов, а также против всяких людей, которые деньги обожают больше жизни.

А жил в Ленинграде такой П. Я. Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он в начале нэпа парикмахерскую держал. Только, кроме стрижки и брижки, он еще иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну, и, конечно, засыпался.

Он засыпался в двадцать шестом году летом. Маленько посидел где следует. И вскоре его, голубчика, выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то, одним словом, дали — минус семь или плюс семь или восемь,— черт его разберет. Я в этих делах пока что слабо понимаю. Одним словом, его, как плута и спекулянта, выслали в Нарымский край.

И, значит, он, хочешь — не хочешь, поехал.

А, надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было неспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угадать куда-нибудь.

И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда десять царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть, помните — государство в двадцать четвертом году выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей.

Вот он, значит, на всякий пожарный случай и подзашил свое добро в тужурку, и прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да еще в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. И стал поджидать.

Только он не долго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал куда следует.

Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорей всего, он не очень худо жил. Тем более бумажных денег у него было вдоволь припасено. Он знай себе подпарывал брюки и вынимал что-то из бумажника. А до золота он, между прочим, не дотрагивался.

Только живет он так больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился. Его там просквозило на работе. И он там захворал.

Конечно, кашель поднялся, насморк, хрипы, температура минус сорок градусов. В боку колет. Аппетита нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины.

И тогда ночью сымает он с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик.

Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди.

Только, может, он проглотил их пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по семи человек вместе жило.

Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги.

И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит:

— Мне, говорит, не так золота жалко. Я себе золота не возьму. Но я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка.

Короче говоря, вскоре больной поправился. Грудь ему освободило. Дыхание вернулось. Но является новая беда — в желудке колет, кушать неохота, и слюни не идут.

И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось.

Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Ему здоровье не дозволяло. Да и он, может, пугался, что во время хлороформа он не досмотрит и хирурги разворуют его монеты.

Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать.

Разные сильные средства выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует.

Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались.

Так что ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает трех монет и одного квадратика. Тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение.

Но зачем на людей тень наводить? Может быть, монеты лежат себе в желудке. Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину, так что оно может лежать до бесконечности.

Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, она в движении у других граждан.

1929

СЕРЕНАДА

Вот интересно. Подрались два человека. Схватились два человека, и слабый человек, то есть совершенно ослабевший, золотушный парнишка заколотил сильного.

Прямо даже верить неохота. То есть как это слабый парень может, товарищи, нарушить все основные физические и химические законы? Чего он, сжулил? Или он перехитрил того?

Нет! Просто у него личность преобладала. Или я так скажу: мужество. И он через это забил своего врага.

И подрались, я говорю, два человека. Водолаз, товарищ Филиппов. Огромный такой мужчина с буденновскими усами. И другой парнишка, вузовец, студент. Такой довольно грамотный полуинтеллигентный студентик. Между прочим, однофамилец нашего знаменитого советского романиста Малашкина.

А водолаз Филиппов, я говорю, был очень даже здоровый тип. В водолазном деле слабых, конечно, не употребляют, но это был ужасно какой здоровый дьявол.

А студент был, конечно, мелковатый, непрочный субъект. И он красотой особой не отличался. Чего-то у него завсегда было на физиономии. Или золотуха. Я не знаю.

Вот они и подрались.

А только надо сказать, промежду них не было классовой борьбы. И тоже не наблюдалось идеологического расхождения. Они оба-два были совершенно пролетарского происхождения. А просто они, скажем грубо, не поделили между собой бабу! Это ж прямо анекдот.

Такая была Шурочка. Так, ничего себе. Ротик, носик — это все есть. Но особенно такого сверхъестественного в ней не наблюдалось.

А водолаз, товарищ Филиппов, был в нее сильно влюбившись. На двенадцатом году революции.

А она с ним немножко погуляла и перекинулась на сторону полуинтеллигенции. Она на Малашкина кинулась. Может, он ей разговорчивей показался. Или у него руки были чище. Я не знаю. Только она действительно отошла к нему.

А тот, знаете, и сам не рад своему счастью. Потому, глядит, очень ужасный у него противник. Однако виду не показывает. Ходит довольно открыто и водит свою мадам в разные места.

А водолаз, конечно, его задевает. Прямо не дает ему дыхнуть.

Называет его разными хамскими именами. В грудь пихает. Пихнет и говорит:

— А ну, выходи на серенаду! Сейчас я тебе башку отвинчу.

Ну, конечное дело, студент терпит. Отходит.

А раз однажды стоят ребята во дворе дома. Тут все правление. Члены. Контрольная комиссия. Водолаз тоже сбоку стоит. И вдруг идет по двору Костя Малашкин со своей Шурочкой. А водолаз нарочно громко говорит контрольной комиссии:

— На морде, говорит, проказа, а между прочим, барышень до самых дверей провожает.

Тогда студент провожает свою даму и возвращается назад.

Он возвращается назад, подходит до компании и ударяет товарища водолаза по морде. Водолаз, конечно, удивляется такому нахальству — и хлоп, в свою очередь, студента. Студент брык наземь. Водолаз к нему подбегает — и хлоп его обратно по брюху и по разным важным местам.

Тут, конечно, контрольная комиссия оттеснила водолаза от студента. Поставили того на ноги. Натерли его слабую грудку снегом и отвели домой.

Тот ничего, отдышался и вечером вышел подышать свежей прохладой.

Он вышел подышать прохладой и на обратном пути встречает водолаза. И тогда он снова быстрым темпом ходит до водолаза и обратно бьет его в морду.

Только на этот раз не было контрольной комиссии, и водолаз товарищ Филиппов порядочно отутюжил нашего студента. Так что пришлось его на шинельке домой относить.

Только проходит, может, полторы недели. Студент совершенно поправляется, встает на ножки и идет на домовое собрание.

Он идет на домовое собрание и там обратно встречает водолаза.

Водолаз хочет его не увидеть, а тот подходит до него вплотную и снова ударяет его по зубам.

Тут снова происходит безобразная сцена. Студента кидают, вращают по полу и бьют по всем местам. И снова уносят на шинельке.

Только на этот раз дело оказалось серьезней. У студента, как говорится, стали отниматься ноги.

А дело было к весне. Запевали птички, и настурции цвели. И наш голубчик-студент после этой битвы ежедневно сидел у раскрытого окна — отдыхал. И водолаз завсегда отворачивался и проходил мимо. А когда к водолазу подходил народ, даже хотя бы с контрольной комиссии, он ужасно сильно вздрагивал и башку назад откидывал, будто его бить собирались.

Через недели две студент, поправившись, еще три раза бил водолаза и два раза получил сдачи, хотя не так чувствительно.

А в третий и в последний раз водолаз сдачи не дал. Он только потер побитую личность и говорит:

— Я, говорит, перед вами сдаюсь. Я, говорит, через вас, товарищ Костя Малашкин, совершенно извелся и форменно до ручки дошел. Сердечная просьба — не бить меня больше.

Тут они полюбовались друг другом и разошлись.

Студент вскоре расстался со своей Шурочкой. А водолаз уехал на Черное море нырять за «Черным принцем».

На этом дело и кончилось.

Так что сила — силой, а против силы имеется еще одно явление.

1929

ЛЕТНЯЯ ПЕРЕДЫШКА

Конечно, заиметь собственную отдельную квартирку — это все-таки как-никак мещанство.

Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираться в своей домашней крепости.

Надо жить в коммунальной квартире. Там все на людях. Есть с кем поговорить. Посоветоваться. Подраться.

Конечно, имеются свои недочеты.

Например, электричество дает неудобство. Не знаешь, как рассчитываться. С кого сколько брать.

Конечно, в дальнейшем, когда наша промышленность развернется, тогда можно будет каждому жильцу в каждом углу поставить хотя по два счетчика. И тогда пущай сами счетчики определяют отпущенную энергию. И тогда, конечно, жизнь в наших квартирах засияет как солнце.

Ну а пока, действительно, имеем сплошное неудобство.

Для примеру, у нас девять семей. Один провод. Один счетчик. В конце месяца надо к расчету строиться. И тогда, конечно, происходят сильные недоразумения и другой раз мордобой.

Ну хорошо, вы скажете: считайте с лампочки.

Ну хорошо, с лампочки. Один сознательный жилец лампочку-то, может, на пять минут зажигает, чтоб раздеться или блоху поймать. А другой жилец до двенадцати ночи чего-то там жует при свете. И электричество гасить не хочет. Хотя ему не узоры писать.

Третий найдется такой, без сомнения интеллигент, который в книжку глядит буквально до часу ночи и больше, не считаясь с общей обстановкой.

Да, может быть, еще лампочку перевертывает на более ясную. И алгебру читает, что днем.

Да закрывшись еще в своей берлоге, может, тот же интеллигент на электрической вилке кипяток кипятит или макароны варит. Это же понимать надо!

Один у нас такой был жилец — грузчик, так он буквально свихнулся на этой почве. Он спать перестал и все добивался, кто из жильцов по ночам алгебру читает и кто на вилках продукты греет. И не стало человека. Свихнулся.

И после того как он свихнулся, его комнату заимел его родственник. И вот тогда и началась форменная вакханалия.

Каждый месяц у нас набегало по счетчику, ну, не более двенадцати целковых. Ну, в самый захудалый месяц, ну, тринадцать. Это, конечно, при контроле жильца, который свихнулся. У него контроль очень хорошо был поставлен. Он, я говорю, буквально ночи не спал и каждую минуту ревизию делал. То сюда зайдет, то туда. И все грозил, что топором разрубит, если найдет излишки. Еще удивительно, как другие жильцы с ума не свихнулись от такой жизни.

Так вот, имели в месяц не свыше двенадцати рублей.

И вдруг имеем шестнадцать. Пардон! В чем дело? Это какая же собака навертела такое количество? Или это вилка, или грелка, или еще что.

Поругались, поругались, но заплатили.

Через месяц имеем обратно шестнадцать.

Которые честные жильцы, те прямо говорят:

— Неинтересно жить. Мы будем, как подлецы, экономить, а другие току не жалеют. Тогда и мы не будем жалеть. Тогда и мы будем вилки зажигать и макароны стряпать.

Через месяц мы имели по счетчику девятнадцать.

Ахнули жильцы, но все-таки заплатили и начали наворачивать. Свет не тушат. Романы читают. И вилки зажигают.

Через месяц имели двадцать шесть.

И тогда началась полная вакханалия.

Одним словом, когда докрутили счетчик до тридцати восьми рублей, тогда пришлось прекратить энергию. Все отказались платить. Один интеллигент только умолял и за провод цеплялся, но с ним не посчитались. Обрезали.

Конечно, это сделали временно. Никто не против электрификации. На общем собрании так и заявили: дескать, никто не против и в дальнейшем похлопочем и включимся в сеть. А пока и так ладно. Дело тем более к весне. Светло. А там лето. Птички поют. И свет ни к чему. Не узоры писать. Ну а зимой — там видно будет. Зимой, может, снова включим электрическую тягу. Или контроль устроим, или еще что.

А пока надо летом отдохнуть. Устали от этих квартирных делов.

1929

НЯНЯ

На днях произошло одно возмутительное дело у нас в Ленинграде.

Тут такие супруги Фарфоровы имели няню. Они взяли ее для своего ребенка. Они сами не могли своему ребенку обеспечить уход и ласку. Они обадва служили на производстве.

Сам Серега Фарфоров служил. И она служила. Он прилично зарабатывал. И она порядочно получала.

И вот при таком их служебном интересе у них происходит рождение ребенка.

Родился у них ребенок как таковой, и, конечно, пришлось до него взять няню. А то бы, конечно, они не взяли. У них такой привычки не было — брать себе нянек. Они не понимали такого барства.

Но тут им выгодней было иметь няню, чем самой мадам Фарфоровой покинуть место службы и удалиться с производства.

И вот, конечно, определилась к ним няня.

Не очень такая старая и не очень такая молодая. Одним словом, пожилая и довольно-таки на вид страхолюдная.

Но они нарочно взяли себе такую некрасивую, чтоб она не шлялась, и чтобы не имела личного

счастья, и чтоб только смотрела на ихнего младенца.

Они ее взяли по рекомендации. И там им сказали, что это вполне непьющая пожилая некрасивая старуха. И, дескать, она любит детей и прямо с рук их не спускает. И даром что это старуха, но это такая старуха, которая вполне достойна войти в новое бесклассовое общество.

Это им так сказали. Но они еще не имели своего мнения.

И вот они берут себе эту няню и видят: действительно золото, а не няня. Тем более она сразу полюбила ребенка. Все время с ним ходит, с рук не спускает и прямо гуляет с ним до ночи.

А Фарфоровы, являясь передовыми людьми, не перечили в этом. Они понимали, что воздух и гулянье вполне укрепляют организм ихнему младенцу. И думают: «Пожалуйста. Пущай гуляет. Тем более мы будем реже видеть ее столь неприятную внешность».

И вот происходит такая вопиющая история.

Утром родители уходят на производство, а ихняя няня берет младенца, берет пузырек с коровьим молоком и идет гулять по улицам Ленинграда. И гуляет с ним прямо до глубокой ночи.

Только раз однажды идет по улице член правления Цаплин. Он — с домкома. Он — одна из главных фигур в правлении.

Вот он идет по улице, думает, может, там про свои интимные дела или там кого бы из вверенных ему жильцов на черную доску занести как злостного неплательщика. И вдруг — смотрит — что такое? Стоит на углу потрепанная старуха. Держит она на своих руках младенца. И под этого младенца просит.

Некоторые прохожие при виде этого зрелища отворачиваются, а некоторые, сочувствуя чужой беде, подают ей монетку или две на пропитание. А та им кланяется. И показывает младенца,— дескать, не для себя прошу, а вот для этого.

Семен Михайлович Цаплин давать ей не хотел, он просто так поглядел на нее. И видит — личность знакомая, да, действительно, это суть няня с фарфоровским ребенком.

Член правления Цаплин ничего ей на это не сказал и вообще ничего не подал, но повернулся и пошел обратно домой.

Неизвестно, как он дожил до вечера, но вечером говорит самому Фарфорову:

— Я, говорит, чересчур удивляюсь, уважаемый товарищ, но, говорит, или вы своей домработнице денег не платите, или, говорит, я не пойму, что с ней. Но если, говорит, вы ее нарочно засылаете под ребенка просить, то вы, говорит, есть определенно чуждая прослойка в нашем пролетарском доме.

Фарфоров, конечно, говорит:

— Я извиняюсь, об чем речь? Про что вы говорите — я не пойму.

Тогда член правления рассказывает о том, что видел, и о том, что перечувствовал, наблюдая подобное уличное зрелище.

Тут происходят разные сцены. Происходят крики и улыбки. И все выясняется.

Тогда зовут няню. Ей говорят:

— Как же так можно? Вы что — обалдели? Или у вас в голове не все дома?

Няня говорит:

— В этом пороку нет: так ли я стою, или мне сердобольные прохожие в руку дают. Я, говорит, прямо не пойму ваши обиды. Ребенок через это не страдает. И, может, ему даже забавно видеть такое вращение людей вокруг себя.

Фарфоров говорит:

— Да, но я не хочу своему ребенку присваивать такие взгляды с детских лет. Я не дозволю вам с моим ребенком побираться. Мы вам прилично платим, у вас все есть, и вы вполне сыты и обуты.

Нянька говорит:

— Да, но мне хотелось еще маленько подработать.

Мадам Фарфорова, прижимая своего ребенка к груди, восклицает:

— Нам это в высшей степени оскорбительно! Мы вас выгоняем со своего места.

Цаплин говорит:

— А я как член правления скажу: вы всецело правы выгнать эту бешеную няньку. Не вы, а она есть чуждая прослойка в нашем доме.

Старуха говорит:

— Ах, подумаешь, до чего испугали! Нянь нынче не очень много — меня, может, с руками оторвут. А я под вашего щенка едва трешку зарабатывала — а уж упреков не оберешься. Я от вас сама уйду, поскольку вы какие-то бесчувственные подлецы, а не хозяева.

После этих слов Фарфоров, рассердившись, накричал на нее и даже хотел из ее слабого тела вытряхнуть старческую душонку, но член правления ему не разрешил и даже произнес краткую речь. Он так сказал Фарфорову и его супруге:

— Эта ваша нянька всеми своими корнями уходит в далекое прошлое, где уживались господа и подневольные рабы. Она свыклась с той жизнью и не видит ничего позорного в нищете и в подаяниях. Вот поэтому она и пошла на такое паскудство, которое вас законно оскорбило. Однако физически вы ее не троньте, а просто прогоните ее со своего места.

Супруги Фарфоровы так и поступили — они с позором прогнали свою няньку.

Та ушла и рекомендации не взяла, и неизвестно, куда поступила. Но, наверное, она снова где-нибудь нянчит младенца и под него подходяще зарабатывает.

1929

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

Во время знаменитого крымского землетрясения жил в Ялте некто такой Снопков.

Он сапожник. Кустарь. Он держал в Ялте мастерскую. Не мастерскую, а такую каменную будку имел, такую небольшую халупку.

И он работал со своим приятелем на пару. Они оба-два приезжие были. И производили починку обуви как местному населению, так и курсовым гражданам.

И они жили определенно не худо. Зимой, безусловно, голодовали, но летом работы чересчур хватало. Другой раз даже выпить было некогда. Ну, выпить-то, наверное, время хватало. Чего-чего другого...

Так и тут. Перед самым, значит, землетрясением, а именно, кажется, в пятницу одиннадцатого сентября, сапожник Иван Яковлевич Снопков, не дождавшись субботы, выкушал полторы бутылки русской горькой.

Тем более он кончил работу. И тем более было у него две бутылки запасено. Так что чего же особенно ждать? Он взял и выкушал. Тем более он еще не знал, что будет землетрясение.

И вот выпил человек полторы бутылки горькой, немножко, конечно, поколбасился на улице, спел чего-то там такое и назад к дому вернулся.

Он вернулся к дому назад, лег во дворе и заснул, не дождавшись землетрясения.

А он, выпивши, обязательно во дворе ложился. Он под крышей не любил в пьяном виде спать. Ему нехорошо было под потолком. Душно. Его мутило. И он завсегда чистое небо себе требовал.

Так и тут. Одиннадцатого сентября, в аккурат перед самым землетрясением, Иван Яковлевич Снопков набрался горькой, сильно захмелел и заснул под самым кипарисом во дворе.

Вот он спит, видит разные интересные сны, а тут параллельно с этим происходит знаменитое крымское землетрясение. Домишки колышутся, земля гудит и трясется, а Снопков спит себе без задних ног и знать ничего не хочет.

А что до его приятеля, так его приятель с первого удара дал тигаля и расположился в городском саду, боясь, чтоб его камнем не убило.

Только рано утром, часов, может, около шести, продрал свои очи наш Снопков. Проснулся наш Снопков под кипарисом и, значит, свой родной двор нипочем не узнает. Тем более ихнюю каменную будку свалило. Не целиком свалило, а стена расползлась и забор набок рухнул. Только что кипарис тот же, а все остальное признать довольно затруднительно.

Продрал свои очи наш Снопков и думает:

«Мать честная, куда ж это меня занесло? Неужели, думает, я в пьяном виде вчерась еще куда-нибудь зашел? Ишь ты, кругом какое разрозненное хозяйство! Только не понять — чье. Нет, думает, нехорошо так в дым напиваться. Алкоголь, думает, чересчур вредный напиток, ни черта в памяти не остается».

И так ему на душе неловко стало, неинтересно.

«Эва, думает, забрел куда. Еще спасибо, думает, во дворе прилег, а нуте на улице: мотор может меня раздавить или собака может чего-нибудь такое отгрызть. Надо, думает, полегче пить или вовсе бросить».

Стало ему нехорошо от этих мыслей, загорюнился он, вынул из кармана остальные полбутылки и тут же от полного огорчения выкушал.

Выкушал Снопков жидкость и обратно захмелел. Тем более он не жрал давно и тем более голова была ослабши с похмелюги.

Вот захмелел наш Снопков, встал на свои ножки и пошел себе на улицу.

Идет он по улице и с пьяных глаз нипочем улицу не узнает. Тем более после землетрясения народ стаями ходит. И все на улице, никого дома. И все не в своем виде, полуодетые, с перинами и матрацами.

Вот Снопков ходит себе по улице, и душа у него холодеет.

«Господи, думает, семь-восемь, куда же это я, в какую дыру зашел? Или, думает, я в Батум на пароходе приехал? Или, может, меня в Турцию занесло? Эвон народ ходит раздевшись, все равно как в тропиках».

Идет, пьяный, и прямо чуть не рыдает.

Вышел на шоссе и пошел себе, ничего не признавая.

Шел, шел и от переутомления и от сильного алкоголя свалился у шоссе и заснул как убитый.

Только просыпается — темно, вечер. Над головой звезды сверкают. И прохладно. А почему прохладно — он лежит при дороге раздетый и разутый. Только в одних подштанниках.

Лежит он при дороге, совершенно обобранный, и думает:

«Господи, думает, семь-восемь, где же это я обратно лежу?»

Тут действительно испугался Снопков, вскочил на свои босые ножки и пошел по дороге.

Только прошел он сгоряча верст, может, десять и присел на камушек.

Он присел на камушек и загорюнился. Местности он не узнает, и мыслей он никаких подвести не может. И душа и тело у него холодеют. И жрать чрезвычайно хочется.

Только под утро Иван Яковлевич Снопков узнал как и чего. Он у прохожего спросил.

Прохожий ему говорит:

— А ты чего тут, для примеру, в кальсонах ходишь?

Снопков говорит:

— Прямо и сам не понимаю. Скажите, будьте любезны, где я нахожусь?

Ну, разговорились. Прохожий говорит:

— Так что до Ялты верст, может, тридцать будет. Эва куда ты зашел!

Ну, рассказал ему прохожий насчет землетрясения, и чего где разрушило, и где еще разрушается.

Очень Снопков огорчился, что землетрясение идет, и заспешил в Ялту.

Так через всю Ялту и прошел он в своих кальсонах. Хотя, впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения. Да, впрочем, и так никто бы не поразился.

После подсчитал Снопков свои убытки: уперли порядочно. Наличные деньги — шестьдесят целковых, пиджак — рублей восемь, штаны — рубля полтора и сандалии почти что новенькие. Так что набежало рублей до ста, не считая пострадавшей будки.

Теперь И. Я. Снопков собрался ехать в Харьков. Он хочет полечиться от алкоголя. А то выходит себе дороже.

Чего хочет автор сказать этим художественным произведением?

Этим произведением автор энергично выступает против пьянства. Жало этой художественной сатиры направлено в аккурат против выпивки и алкоголя.

Автор хочет сказать, что выпивающие люди не только другие более нежные вещи — землетрясение и то могут проморгать.

Или как в одном плакате сказано: «Не пей! С пьяных глаз ты можешь обнять своего классового врага!»

И очень даже просто.

1929

РАСПИСКА

Недавно произошло одно очень любопытное дело.

Оно тем более интересно, что это факт. Тут нету, что ли, выдумки или чистой фантастики. Наоборот, все взято, так сказать, с источника жизни.

И оно тем более интересно, что дело имеет любовную подкладку. И в силу этого многим забавно будет поглядеть, как и чего в данную минуту бывает на этом довольно важном и актуальном фронте.

Так вот, два года тому назад, в городе Саратове, произошло такое событие. Один довольно-таки безыдейный молодой человек, Сережа Хренов, а именно служащий, или, вернее, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Или она за ним начала ухаживать. Сейчас, за давностью времени, нету возможности в этом разобраться. Только известно, что стали их вместе замечать на саратовских улицах.

Начали они вместе гулять и выходить. Начали даже под ручку прохаживаться. Начали разные всякие любовные слова произносить. И так далее. И тому подобное. И прочее.

А этот молодой франтоватый браковщик однажды так замечает своей даме.

— Вот, говорит, что, гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем с вами и вместе ходим и, безусловно, говорит, не можем предвидеть, что от этого будет и получится. И, говорит, будьте любезны, дайте мне расписку, мол, в случае чего и если произойдет ребенок, то никаких претензий вы к означенному лицу не имеете. А я, говорит, находясь с такой распиской, буду, говорит, более с вами любезен. В противном же случае я, говорит, скорее всего отвернусь от нашей с вами любви, чем я буду впоследствии беспокоиться за свои действия и платить деньги за содержание потомства.

Или она была в него сильно влюблена, или этот франтик заморочил ей голову в своем болоте безыдейности, но только она не стала с ним понапрасну много спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Мол, и так далее, и в случае чего я никаких претензий к нему не имею и с него денег требовать не буду.

Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, при этом сказала кой-какие слова.

— Это, говорит, довольно странно с вашей стороны. Я раньше никогда таких расписок никому не давала. И даже мне, говорит, чересчур обидно, что ваша любовь принимает такие причудливые формы. Но, говорит, раз вы настаиваете, то я, конечно, могу подписать вашу бумажку.

Браковщик говорит:

— Да уж будьте любезны. Я, говорит, десять лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, что за это бывает.

Одним словом, она подписала бумажку. А он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной руки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу.

Короче говоря, через полтора года они как миленькие стояли перед лицом народного судьи и докладывали ему о своем прежнем погасшем чувстве.

Она стояла в белом своем трикотажном платочке и покачивала малютку.

— Да, говорит, действительно, я по глупости подписалась, но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. Тем более я не имею сейчас работы.

А он, то есть бывший молодой отец, стоит этаким огурчиком и усмехается в свои усики.

Мол, об чем тут речь? Чего такое тут происходит, ась? Чего делается — я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно и при нем, будьте любезны, имеется документ.

Он торжественно распахивает свой пиджак, недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку.

Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол.

Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подпись и на печать, усмехнулся и так говорит:

— Безусловно, документ правильный!..

Браковщик говорит:

— Да уж совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный! И вообще не остается никакого сомнения. Все, говорит, соблюдено и все не нарушено.

Народный судья говорит:

— Документ, безусловно, правильный. Но только является такое соображение: советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае по закону ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорей себе на грудку.

Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит деньги.

1929

ДАМА С ЦВЕТАМИ

Вот, знаете, до чего дошло — напишешь на серьезную тему не такой слишком смешной рассказ, а уж публика обижается.

— Мы, говорят, хотели веселенькое почитать, а тут про что-то научное нацарапано. Так нельзя! Фамилия автора должна отвечать сама за себя.

Так что приходится теперь всякий раз извиняться, если чего-нибудь не так и если, скажем, темка взята не такая чересчур смехотворная.

Другой раз бывают такие малосмешные темки, взятые из жизни. Так, какая-нибудь драка, убийство или имущество свистнули.

Тут действительно много не посмеешься и не посмешишь почтеннейшую публику. И рад бы, так

сказать, обслужить читателя с этой стороны, да обстановка не дозволяет.

Или, например, этот рассказ. Определенно печальный. Про то, как одна интеллигентная дама потонула.

Так сказать, смеха с этого факта не много можно собрать. Так что покорнейшая просьба извинить автора за его нахальство и за то, что он хватается за такие слишком грустные полунаучные описания.

Ну, как-нибудь потерпите на этот раз, а там в дальнейшем можно будет расстараться и снова дурака валять.

Хотя надо сказать, что и в этом рассказе будут некоторые смешные положения. Сами увидите.

Конечно, я не стал бы затруднять современного читателя таким не слишком бравурным рассказом, но уж очень, знаете, ответственная современная темка. Насчет материализма.

Одним словом, этот рассказ насчет того, как однажды через несчастный случай окончательно выяснилось, что всякая мистика, всякая идеалистика, разная неземная любовь и так далее и тому подобное есть форменная брехня и ерундистика. И что в жизни действителен только настоящий материальный подход и ничего, к сожалению, больше.

Может быть, это чересчур грустным покажется некоторым отсталым интеллигентам и академикам, может быть, они через это обратно поскулят, но, поскуливши, пущай окинут взором свою прошедшую жизнь и тогда увидят, сколько всего они накрутили на себя лишнего.

Так вот, дозвольте старому грубоватому материалисту, окончательно после этой истории поставившему крест на многие возвышенные вещи, рассказать эту самую историю. И дозвольте еще раз извиниться, если будет не такой сплошной смех, как хотелось бы.

Тем более, повторяем, какой уж там смех, если одна дама потонула. Она потонула в реке. Она хотела идти купаться. И пошла по бревнам. Там, на реке, у берега, были гонки. Такие плоты. И она имела обыкновение идти по этим бревнам подальше от берега для простору и красоты и там купаться. И, конечно, потонула.

Но дело не в этом.

А в деревню Отрадное, по реке Неве, приехал в этом году на дачу некий такой инженер Николай Николаевич Горбатов.

Он — инженер-технолог или путеец. Одним словом, у него на форменной фуражке какой-то производственный значок — напильник и еще чего-то такое. Но не в этом суть.

Весной в этом году приехал в Отрадное этот инженер со своей молодой супругой Ниной Петровной.

Ничего такого особенного в ней не наблюдалось. Так, дама и дама. Черненькая такая, пестренькая. Завсегда в ручках цветы. Или она их держит, или она их нюхает. И, конечно, одета очень прекрасно.

Несмотря на это, инженер Горбатов ее до того любил, что было удивительно наблюдать.

Действительно верно, он ничего другого от жизни не имел и никуда не стремился. Он общественной нагрузки не нес. Он физкультурой не занимался. Статей не писал. И вообще, надо откровенно сказать, он избегал общественной жизни.

Он не попал в ногу с современностью. Ему было, конечно, лет сорок, и он весь был в своем прошлом. Ему, одним словом, нравилась прошлая буржуазная жизнь с ее разными подушечками, консоме и так далее.

А в настоящей текущей жизни он ничего кроме грубого не видел и свою личность от всего отворачивал.

И поскольку она — супруга и не выдаст его, он рассказывал ей свои разные реакционные мысли и взгляды:

— Я, говорит, человек глубоко интеллигентный, мне, говорит, доступно понимание многих мистических и отвлеченных картин моего детства. И я, говорит, не могу удовлетвориться той грубой действительностью, спецеедством, сокращением, квартирной платой и так далее. Я, говорит, воспитан на многих красивых вещах и безделушках, понимаю тонкую любовь и не вижу ничего приличного в грубых объятиях и так далее и тому подобное.

И вот, в силу всего этого, он оторвался от масс и окончательно замкнулся в свою семейную жизнь и в свою любовь к этой своей милочке с цветочками. А она, безусловно, соответствовала своему назначению.

И, поскольку она была его супругой, она в тон ему пела, со всем таким соглашалась и чересчур горевала о прежней жизни.

Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день нюхать цветки и настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль, как будто там чего-нибудь имеется определенное — фрукты или ливерная колбаса.

Вот, значит, такие это были супруги со своей любовью.

Про нее нельзя сказать, чтоб она его чересчур любила и обожала, но он действительно глаз с нее не сводил. Утром он уезжает на пароходе, а она, в своем миленьком пеньюаре, спешит его провожать на своих тонких интеллигентских ножках. Он ее за локоток придерживает, чтоб, боже сохрани, она ножки себе не вывихнула. И чего-то ей щебечет, воздушные поцелуи с парохода посылает. Одним словом, противно глядеть.

Вот он уехал, а она села и сидит, что дура, мечтает про разные отвлеченные вещи. Ну, пойди постирай, если не хочешь физкультурой заняться. Или пойди тому же своему Горбатову кровать прибери. Нет! Сидит и сидит. И кушать не просит. Зато потом, наверное, легко растерялась со своими мечтами и не могла через это на сушу выбраться. Ну, постольку поскольку она уже потонула, не будем тревожить ее память разными оскорбительными замечаниями.

Так вот, часов около семи Горбатов приезжал обратно с места своей службы. Он приезжает с места службы и спешит увидеть свою голубку.

Он первый прыгает с парохода. И чего-нибудь несет в своих руках. Или там гостинцы, или там трусики ей, или какой-нибудь новенький бюстгальтер.

Он дарит ей тут же и сам ее по спинке хлопает, дурачится, обнимает. Чего ему! Он, главное, никакой общественной нагрузки не несет и весь замк-

нулся в свой горизонт и в свои нежные переживания.

Ну, она посмотрит, чего он принес, нахмурит носик и идет на своих тонких ножках.

Только, одним словом, она потонула. Очень, конечно, жалко, вполне прискорбный факт, но вернуть ее к жизни, тем более с современной медициной, невозможно.

Конечно, занимайся она в свое время хотя бы зарядовой гимнастикой, она нашлась бы в самый последний момент и выплыла бы. А тут со своими цветами окунулась и враз пошла ко дну, не сопротивляясь природе.

Тем более она шла по скользким бревнам. Она всегда по этим бревнам ходила купаться. А тут пошла после дождя на своих французских каблучках и свалилась. Только что трусички остались на плоту.

А может быть, она и нарочно в воду сунулась. Может, она жила, жила с таким отсталым элементом — и взяла и утонула. Тем более, может быть, он заморочил ей голову своей мистикой. Но только, конечно, вряд ли. Скорей всего, если объяснить психологически, она поскользнулась на бревнах и потонула.

Конечно, не будем чересчур расстраивать читателей художественным описанием дальнейших событий. Скажем только, что инженер Николай Николаевич чрезвычайно убивался и страдал от этого факта. Он валялся на берегу, рыдал и все такое, но его подруга погибла безвозвратно, и даже ее тело не могли найти. И от этого инженер тоже чересчур страдал и расстраивался.

— Если бы,—говорил он своей хозяйке,— она нашлась, я бы больше успокоился. Но, говорит, такая жуткая подробность, что ее не нашли, совершенно меня ослабляет. И я, говорит, через это ночи не сплю и все про нее думаю. Тем более я ее любил совершенно неземной любовью, и мне, говорит, только и делов сейчас, что найти ее, приложиться к ее праху и захоронить ее в приличной могилке и на ту могилку каждую субботу ходить, чтобы с ней духовно общаться и иметь с ней потусторонние разговоры.

Так он сказал, настриг листочков и на этих листочках написал крупным шрифтом — мол, нашедшему тело и так далее будет дано крупное вознаграждение в размере тридцати рублей и тому подобное.

И эти записульки он расклеил по всей деревне и по рыбацкому поселку.

Только проходит месяц — безрезультатно. Очень многие ее ищут кошками, баграми и так далее, но почему-то найти не могут.

А он, голубчик инженер Горбатов, ходит все время сторонкой, ни с кем не здоровается, и только у него и делов, что ожидает — найдут ли его подругу.

Конечно, никакое горе особенно долго не может продолжаться. В этом отношении наш организм дивно устроен. И самая кошмарная драма слишком скоро забывается, и почти ничего от нее не остается.

Так что горе инженера немножко тоже поутихло. Хотя он и продолжал горевать, считая, что его крупная любовь останется с ним навеки. И, горюя, он не переехал с дачи, а продолжал ежедневно ездить, не желая расставаться с дорогими местами.

И вот, в начале сентября, рыбаки отыскали ее тело. Ее течением отнесло верст на пять и прибило к берегу.

Ну, приезжают к инженеру два рыбака и докладывают—мол, смотрите, надо опознать, и в случае чего с вас приходится.

Ах, он очень засуетился, побледнел, заторопился в своих движениях, сел в лодку и поехал с рыбаками.

Не будем особенно сгущать краски и описывать психологические подробности, скажем только, что инженер Горбатов тут же на берегу подошел к своей бывшей подруге и остановился подле нее. Кругом рыбаки, конечно, стоят молча и глядят на него, чего он скажет — признает ли он или не признает, тем более признать было, конечно, затруднительно — время и вода сделали свое черное дело. И даже грязные тряпки от костюма были теперь мало похожи на что-нибудь такое приличное, на бывший прекрасный костюм. Не говоря уже про лик, который был тем более попорчен временем.

Тогда один из рыбаков, не желая, конечно, терять понапрасну драгоценное времечко, говорит — дескать, ну, как? Она? Если не она, так давайте, граждане, разойдемся, чего стоять понапрасну!

Инженер Горбатов наклонился несколько ниже, и тут полная гримаса отвращения и брезгливости передернула его интеллигентские губы.

Носком своего сапожка он перевернул лицо утопленницы и вновь посмотрел на нее. После он наклонил голову и тихо прошептал про себя:

— Да... это она!

Снова брезгливость передернула его плечи. Он повернулся назад и быстро пошел к лодке.

Тут рыбаки начали на него кричать — мол, а деньги, деньги; мол, посулил, а сам тигаля дает, а еще бывший интеллигент и в фуражке.

Горбатов, конечно, без слов вынимает деньги и подает рыбакам и прибавляет еще пять целковых с тем, чтобы они захоронили эту даму на здешнем кладбище.

И после этого Н. Н. Горбатов уехал в Отрадное, а оттуда в Ленинград.

А недавно его видели — он шел по улице с какой-то дамочкой. Он вел ее под локоток и что-то такое вкручивал.

Так вот и вся история.

Память утонувшей и глубокую неземную любовь к ней со стороны инженера почтим вставанием и перейдем к текущим делам. Тем более время не такое, чтоб подолгу задерживаться на утонувших гражданках и подводить под них всякую психологию, физиологию и тому подобное.

1929

НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ

Пока мы тут с вами решаем разные ответственные вопросы насчет колхозов и промфинплана — жизнь идет своим чередом. Люди устраивают свою судьбу, женятся, выходят замуж, заботятся о своем личном счастьишке, а некоторые да-

же жулят и спекулируют. Конечно, в настоящее время спекулировать довольно затруднительно. Но, вместе с тем, находятся граждане, которые придумывают чего-то такое свеженькое в этой области.

Вот об одной такой спекуляции я и хочу вам рассказать. Тем более факт довольно забавный. И тем более это — истинное происшествие. Один мой родственник прибыл из провинции и поделился со мной этой новостью.

Одна симферопольская жительница, зубной врач О., вдова по происхождению, решила выйти замуж.

Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта.

В нашей пролетарской стране вопрос об интеллигентах — вопрос пока довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена в положительном смысле, а тут, я извиняюсь,—женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче не много. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни.

И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза.

Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а, думает, ерунда. А после видит — нет, далеко не ерунда,—женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе,—усиленно питалась. Вот она пьет молоко около года, поправляется и между прочим имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей.

Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое, и вообще женихов нету. Молочница говорит:

— Да, мол, безусловно, чего-чего, а этого мало.

Зубной врач говорит:

— Зарабатываю подходяще. Все у меня есть — квартира, обстановка, деньжата. И сама, говорит, я не такое уж мурло. А вот подите ж, вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай объявление.

Молочница говорит:

— Ну, говорит, газета — это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать.

Зубной врач отвечает:

— В крайнем случае я бы, говорит, и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познакомит в смысле брака.

Молочница спрашивает:

— А много ли вы дадите?

— Да, говорит врачиха, смотря какой человек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца три я бы дала, не сморгнув глазом.

Молочница говорит:

— Три, говорит, это мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек.

— Да, может, он не интеллигентный,—говорит врачиха,—может, он крючник.

— Нет, говорит, зачем крючник. Он очень интеллигентный. Он — монтер. Он полностью закончил семилетку.

Врачиха говорит:

— Тогда вы меня с ним познакомьте. Вот вам пока червонец за труды.

И вот на этом они расстаются.

А надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.

Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи.

И вот приходит она домой и говорит своему супругу:

— Вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей пятьдесят схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот.

И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего, если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та сдуру возьмет да и отсыплет ей пять червонцев.

— И, говорит, в крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра — обратный ход.

А муж этой молочницы, этакий довольно красивый сукин сын с усиками, так ей говорит:

— Очень отлично. Пожалуйста! Я, говорит, всегда определенно рад пятьдесят рублей взять ни за что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки — записаться.

И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.

Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги.

Теперь складывается такая ситуация.

Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее аппартаменты и пока что живет там.

Так он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней.

Тогда приходит молочница.

— Так что, говорит, в чем же дело?

Монтер говорит:

— Да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается.

Тут, правда, он схлопотал по физиономии за такое свое безобразное поведение, но мнения своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан.

Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако ни черта хорошего из этого не вышло. Больше того — ей отказали от места,

не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм.

Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга.

1930

СЛАБАЯ ТАРА

Нынче взяток не берут. Это раньше шагу нельзя было шагнуть без того, чтобы не дать или не взять.

А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему.

Взяток, действительно, не берут.

Давеча мы отправляли с товарной станции груз.

У нас тетка от гриппа померла и в духовном завещании велела отправить ейные там простыни и прочие мещанские вещицы в провинцию, к родственникам со стороны жены.

Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину, в духе Рафаэля.

Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик, такой в высшей степени благородный служащий, быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гирьки, клеит ярлыки и дает разъяснения.

Только и слышен его симпатичный голос:

— Сорок. Сто двадцать. Пятьдесят. Сымайте. Берите. Отойдите... Не станови сюда, балда, станови на эту сторону.

Такая приятная картина труда и быстрых темпов.

Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через двa-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара — он ее не берет. Хотя видать, что сочувствует.

Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают, ахают и страдают.

Весовщик говорит:

— Заместо страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пущай он вам укрепит. Пущай сюда пару гвоздей вобьет и пущай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди — я приму.

Действительно верно: стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали — те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.

Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он надел очки, чтоб его было хуже видать. А может быть, он служит на оптическом заводе, и там даром раздают очки.

Вот он становит свои шесть ящиков на метрические десятичные весы.

Весовщик осматривает его шесть ящиков и говорит:

— Слабая тара. Не пойдет. Сымай обратно.

Который в очках, услышав эти слова, совершенно упадает духом. А перед тем как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки. Который в очках кричит:

— Да что ты, собака, со мной делаешь! Я, говорит, не свои ящики отправляю. Я, говорит, отправляю государственные ящики с оптического завода. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтобы везти назад? Отвечай, собака, или я из тебя котлетку сделаю!

Весовщик говорит:

— А я почем знаю?—И при этом делает рукой в сторону.

Тот, по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол, принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей восемь денег, все рублями. И хочет их подать весовщику.

Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег.

Он кричит:

— Это как понимать? Не хочешь ли ты мне, очкастая кобыла, взятку дать?!

Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения.

— Нет, говорит, я деньги вынул просто так. Хотел, чтобы вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов.

Он совершенно теряется, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде.

Весовщик говорит:

— Стыдно. Здесь взяток не берут. Сымайте свои шесть ящиков с весов — они мне буквально холодят душу. Но, поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего, он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени вожжаться с вами.

Тем не менее он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление:

— Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд. Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги, а то теперь трудно доказывать.

Другой служащий отвечает:

— Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пущай не могут думать, что у нас по-прежнему рыльце в пуху.

Который в очках, совершенно сопревший, возится со своими ящиками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы.

Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара.

И, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей.

Я говорю:

— Что вы, говорю, обалдели, восемь рублей брать за три гвоздя.

Он мне говорит интимным голосом:

— Это верно, я бы вам и за трояк сделал, но, говорит, войдите в мое пиковое положение — мне же надо делиться вот с этим крокодилом.

Тут я начинаю понимать всю механику.

— Стало быть, я говорю, вы делитесь с весовщиком?

Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и небылицы, бормочет о мелком жалованьишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе.

Вот приходит моя очередь.

Я становлю свой ящик на весы и любуюсь крепкой тарой.

Весовщик говорит:

— Тара слабовата. Не пойдет.

Я говорю:

— Разве? Мне сейчас только ее укрепляли. Вот тот, с клещами, укреплял.

Весовщик отвечает:

— Ах, пардон, пардон. Извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон.

Принимает он мой ящик и пишет накладную.

Я читаю накладную, а там сказано: «Тара слабая».

— Да что ж вы, говорю, делаете, арапы? Мне же, говорю, с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь, говорю, я вижу ваши арапские комбинации.

Весовщик говорит:

— Что пардон, то пардон, извиняюсь.

Он вычеркивает надпись — и я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции.

Что пардон, то пардон.

1932

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят.

Бывало, раньше выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандебобером, а на тебя смотрят, посылают воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки.

А тут вдруг вижу — ничего подобного!

Вот это, думаю, жалко! Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Один буржуазный экономист или, кажется, химик высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы ни делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее и тому подобное — все это делается ради женщины.

Ну, это он, конечно, перехватил немного, зарвался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен.

Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь,— все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни.

Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят!

Что, думаю, за черт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо?

Вот я прихожу домой и поскорей гляжусь в зеркало. Там, вижу, вырисовывается потрепанная физиономия. И тусклый взор. И краска не играет на щеках.

«Ага, теперь понятно!— говорю я сам себе.— Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку».

И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты.

Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее.

Все это ем, пью и жру безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид.

И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы по-прежнему на меня не смотрят.

«Ага,— говорю я сам себе,— может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы».

Я покупаю тогда висячую трапецию. Покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху.

Я вращаюсь, как сукин сын, на всех кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям.

Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок. Катаюсь на лодках и на лодчонках. Купаюсь до ноября. При этом чуть не тону однажды. Я ныряю сдуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать.

Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе голову при падении с трапеции.

Я мужественно сношу все это и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку.

Но этой улыбки опять не нахожу.

Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Физия моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то лиловый оттенок.

Со своей лиловой физиономией я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь.

И в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают.

Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и любуюсь на свою окрепшую фигуру и на

грудь, которая дает теперь с напружкой семьдесят пять сантиметров.

Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так.

И искренне удивляюсь той привередливости, того фигурянья со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо пес их знает, чего им надо.

Я любуюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу — худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание.

Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе.

«Ах, теперь понятно!— говорю я сам себе.— Вот что сокрушает мою личную жизнь — я плохо одеваюсь».

И, подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду.

И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. И покупаю себе брюки «оксфорд», сшитые из двух галифе.

Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде.

Я покупаю себе пальто на рынке с широкими плечами. И в выходной день однажды выхожу на Тверской бульвар.

Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дрессированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.

Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.

Мужчины — те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.

Там и сям слышу фразы:

— Эво, какое чучело! Поглядите, как, подлец, нарядился!

Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной.

Я иду, как сквозь строй, по бульвару, неясно на что-то надеясь.

И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством.

Я улыбаюсь в ответ и присаживаюсь на скамеечку, что напротив.

Прилично одетая дама, с остатками поблекшей красоты, пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее.

Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно любуюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин.

Потом снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением.

Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа. И уже хочу уйти. И уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики.

Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит:

— Извините, уважаемый... Очень, говорит, мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку.

«Ну да, конечно, думаю, неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты».

Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напружкой.

Оглядев подкладку, дама поднимает истошный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто! Краденое пальто, которое теперь этот прохвост (то есть я) носит на своих плечах.

Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто.

Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю.

А когда меня между прочим спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание.

«Ах, вот отчего на меня не смотрят!— говорю я сам себе.— Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни».

Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятенным сердцем, выхожу на улицу.

«Ну ладно, обойдусь!— говорю я сам себе.— Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина».

Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого.

«Это брехня!— говорю я себе.— Это досужие выдумки! Типичный западный вздор!»

Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваюсь от проходящих женщин.

1933

ВРАЧЕВАНИЕ И ПСИХИКА

1

Вчера я пошел лечиться в амбулаторию.

Народу чертовски много. Почти как в трамвае.

И, главное, интересно отметить — самая большая очередь к нервному врачу, по нервным заболеваниям. Например, к хирургу всего один человек со своей развороченной мордой, с разными порезами и ушибами. К гинекологу — две женщины и один мужчина. А по нервным — человек тридцать.

Я говорю своим соседям:

— Я удивляюсь, сколько нервных заболеваний. Какая несоразмерная пропорция.

Такой толстоватый гражданин, наверное, бывший рыночный торговец или черт его знает кто, говорит:

— Ну еще бы! Ясно. Человечество торговать

хочет, а тут, извольте, глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно...

Другой, такой желтоватый, худощавый, в тужурке, говорит:

— Ну, вы не очень-то распущайте свои мысли. А не то я позвоню куда следует. Вам покажут — человечество... Какая сволочь лечиться ходит...

Такой, с седоватыми усишками, глубокий старик, лет пятидесяти, так примиряет обе стороны:

— Что вы на них нападаете? Это просто, ну, ихнее заблуждение. Они про это говорят, забывши природу. Нервные заболевания возникают от более глубоких причин. Человечество идет не по той линии... цивилизация, город, трамвай, бани — вот в чем причина возникновения нервных заболеваний... Наши предки в каменном веке и выпивали, и пятое-десятое, и никаких нервов не понимали. Даже врачей у них, кажется, не было.

Бывший торговец говорит с усмешкой:

— А вы чего — бывали среди них или там знакомство поддерживали? Седоватый, а врать любит...

Старик говорит:

— Вы произносите глупые речи. Я выступаю против цивилизации, а вы несете бабью чушь. Пес вас знает, чем у вас мозги набиты.

Желтоватый, в тужурке, говорит:

— Ах, вам цивилизация не нравится, строительство... Очень я слышу милые слова в советском учреждении. Вы, говорит, мне под науку не подводите буржуазный базис. А не то знаете, чего за это бывает.

Старик робеет, отворачивается и уж до конца приема не раскрывает своих гнилых уст.

Советская мадам в летней шляпке говорит, вздохнувши:

— Главное, заметьте, все больше пролетарии лечатся. Очень расшатанный класс...

Желтоватый, в тужурке, отвечает:

— Знаете, я, ей-богу, сейчас по телефону позвоню. Тут я прямо не знаю, какая больная прослойка собравшись. Какой неглубокий уровень! Класс очень здоровый, а что отдельные единицы нервно хворают, так это еще не дает картины заболевания.

Я говорю:

— Я так понимаю, что отдельные единицы нервно хворают в силу бывшей жизни — война, революция, питание... Так сказать, психика не выдерживает такой загрубелой жизни.

Желтоватый начал говорить:

— Ну, знаете, у меня кончилось терпение...

Но в эту минуту врач вызывает: «Следующий».

Желтоватый, в тужурке, не заканчивает фразы и спешно идет за ширмы.

2

Вскоре он там начинает хихикать и говорить «ой». Это врач его слушает в трубку, а ему щекотно.

Мы слышим, как больной говорит за ширмой:

— Так-то я здоров, но страдаю бессонницей. Я сплю худо, дайте мне каких-нибудь капель или пилюль.

Врач отвечает:

— Пилюль я вам не дам — это только вред приносит. Я держусь новейшего метода лечения. Я нахожу причину и с ней борюсь. Вот я вижу — у вас нервная система расшатавши. Я вам задаю вопрос — не было ли у вас какого-нибудь потрясения? Припомните.

Больной сначала не понимает, о чем идет речь. Потом несет какую-то чушь и наконец решительно добавляет, что никакого потрясения с ним не было.

— А вы вспомните,— говорит врач,— это очень важно — вспомнить причину. Мы ее найдем, развенчаем, и вы снова, может быть, оздоровитесь.

Больной говорит:

— Нет, потрясений у меня не было.

Врач говорит:

— Ну, может быть, вы в чем-нибудь взволновались... Какое-нибудь очень сильное волнение, потрясение?

Больной говорит:

— Одно волнение было, только давно. Может быть, лет десять назад.

— Ну, ну, рассказывайте,— говорит врач,— это вас облегчит. Это значит, вы десять лет мучились, и по теории относительности вы обязаны это мученье рассказать, и тогда вам снова будет легко и будет хотеться спать.

Больной мямлит, вспоминает и наконец начинает рассказывать.

3

— Возвращаюсь я тогда с фронта. Ну, естественно — гражданская война. А я дома полгода не был. Ну, вхожу в квартиру... Да. Поднимаюсь по лестнице и чувствую — у меня сердце в груди замирает. У меня тогда сердце маленько пошаливало — я был два раза отравлен газами в царскую войну, и с тех пор оно у меня пошаливало.

Вот поднимаюсь по лестнице. Одет, конечно, весьма небрежно. Шинелька. Штанцы. Вши, извиняюсь, ползают.

И в таком виде иду к супруге, которую не видел полгода.

Безобразие.

Дохожу до площадки.

Думаю — некрасиво в таком виде показаться. Морда неинтересная. Передних зубов нету. Передние зубы мне зеленая банда выбила. Я тогда перед этим в плен попал. Ну, сначала хотели меня на костре спалить, а после дали по зубам и велели уходить.

Так вот, поднимаюсь по лестнице в таком неважном виде и чувствую — ноги не идут. Корпус с мыслями стремится, а ноги идти не могут. Ну, естественно — только что тиф перенес, еще хвораю.

Еле-еле вхожу в квартиру. И вижу: стол стоит. На столе выпивка и селедка. И сидит за столом мой племянник Мишка и своей граблей держит мою супругу за шею.

Нет, это меня не взволновало. Нет, я думаю: это молодая женщина — чего бы ее не держать за шею. Это чувство меня не потрясает.

Вот они меня увидели. Мишка берет бутылку

водки и быстро ставит ее под стол. А супруга говорит:

— Ах, здравствуйте.

Меня это тоже не волнует, и я тоже хочу сказать «здравствуйте». Но отвечаю им «те-те»... Я в то время маленько заикался и не все слова произносил после контузии. Я был контужен тяжелым снарядом и, естественно, не все слова мог произносить.

Я гляжу на Мишку и вижу — на нем мой френч сидит. Нет, я никогда не имел в себе мещанства! Нет, я не жалею сукно или материю. Но меня коробит такое отношение. У меня вспыхивает горе, и меня разрывает потрясение.

Мишка говорит:

— Ваш френч я надел все равно как для маскарада. Для смеху.

Я говорю:

— Сволочь, сымай френч!

Мишка говорит:

— Как я при даме сыму френч?

Я говорю:

— Хотя бы шесть дам тут сидело, сымай, сволочь, френч.

Мишка берет бутылку и вдруг ударяет меня по башке.

4

Врач перебивает рассказ. Он говорит:

— Так, так, теперь нам все понятно. Причина нам ясна... И, значит, с тех пор вы страдаете бессонницей? Плохо спите?

— Нет,— говорит больной,— с тех пор я ничего себе сплю. Как раз с тех пор я спал очень хорошо.

Врач говорит:

— Ага! Но когда вспоминаете это оскорбление, тогда и не спите? Я же вижу — вас взволновало это воспоминание.

Больной отвечает:

— Ну да, это сейчас. А так-то я про это и думать позабыл. Как с супругой развелся, так и не вспоминал про это ни разу.

— Ах, вы развелись...

— Развелся. Вышел за другую. И затем за третью. После за четвертую. И завсегда спал отлично. А как сестра приехала из деревни и заселилась в моей комнате вместе со своими детьми, так я и спать перестал. В другой раз с дежурства придешь, ляжешь спать — не спится. Ребятишки бегают, веселятся, берут за нос. Чувствую — не могу заснуть.

— Позвольте,— говорит врач,— так вам мешают спать?

— И мешают, конечно, и не спится. Комната небольшая, проходная. Работаешь много. Устаешь. Питание все-таки среднее. А ляжешь — не спится...

— Ну, а если тихо? Если, предположим, в комнате тихо?

— Тоже не спится. Сестра на праздниках уехала в Гатчину с детьми. Только я начал засыпать, соседка несет тушилку с углями. Оступается и сыплет на меня угли. Я хочу спать и чувствую: не могу заснуть — одеяло тлеет. А рядом на мандолине играют. А у меня ноги горят...

— Слушайте,— говорит врач,— так какого же черта вы ко мне пришли?! Одевайтесь. Ну хорошо, ладно, я вам дам пилюли.

За ширмой вздыхают, зевают, и вскоре больной выходит оттуда со своим желтым лицом.

— Следующий,— говорит врач.

Толстоватый субъект, который беспокоился за торговлю, спешит за ширмы.

Он на ходу машет рукой и говорит:

— Нет, неинтересный врач. Верхогляд. Чувствую — он мне тоже не поможет.

Я гляжу на его глуповатое лицо и понимаю, что он прав — медицина ему не поможет.

1933

КАКИЕ У МЕНЯ БЫЛИ ПРОФЕССИИ

Я не знаю, сколько есть разных профессий. Один знакомый интеллигент мне сказал, будто всего на земном шаре триста девяносто профессий.

Ну, это он, конечно, перехватил, но, вероятно, все же около ста профессий имеется.

Нет, все сто профессий я не имел, но вот пятьдесят профессий я действительно испытал.

И вот перед вами человек, который испытал на себе пятьдесят профессий.

Интересно, кем я только не был.

Нет, я, конечно, не был там каким-нибудь экономистом, химиком или там пиротехником, скульптором и так далее. Нет, я не был академиком или там профессором анатомии, алгебры или французского языка. Я не скрою от вас — я не занимал разные интеллигентские посты, не смотрел в подзорные трубы, чтоб видеть разные небесные явления, планеты и кометы, не шлялся по шоссе с такой, знаете, маленькой трубочкой на треножнике для измерения высоты поверхности. Не строил мосты или там здания для посольства. И не затемнял свой рассудок математическими вычислениями количества белых шариков в крови.

Да, эти профессии, не скрою от вас, я не испытывал. Мне не хватало для этого всей высоты образования и знания иностранных языков. Тем более, что до революции я был отчасти малограмотный. Читать мог, но писать уже не всегда осмеливался.

И через это, конечно, к сожалению, не могу вам ничего рассказать про такие возвышенные профессии, которые основаны там на науке или там технике или медицине.

Хотя должен вам сказать, что с медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после Февральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.

Вот после революции ребята мне и говорят:

— У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти освобождения не дает, несмотря на Февральскую революцию. Очень бы хотелось его заменить. Вот бы, говорят, хорошо, если бы вы согласились на эту должность. Тем

более, говорят, все должности сейчас выборные — вот бы мы тебя и выбрали.

Я говорю:

— Отчего же. Конечно, выбирайте. Я, говорю, человек, понимающий явления природы. Понимаю, что после революции ребятам хотелось бы смотаться по домам и поглядеть, как и чего. Керенский, говорю, этот артист на троне, завертел волынку до победного конца. И полковой врач ему в дудочку подыгрывает и нашего брата не отпускает. Выбирайте меня врачом — я вас почти всех отпущу.

Вот вскоре после того сменяют командира полка, сменяют подряд офицеров и нашего пресловутого медика. И на его место назначают меня приказом.

Работа оказалась, конечно, трудная и, главное, бестолковая.

Едва послушаешь больного в трубку, как он хнычет и отпрашивается домой. А если его не отпускаешь, он очень на врача наседает и чуть не хватает его за горло.

Профессия совершенно глупая и небезопасная для жительства.

А если больному дашь порошки — он их жрать не хочет, а швыряет порошки врачу в лицо и велит писать увольнительную.

Ну, для формы спросишь — какая у тебя болезнь? Ну, больной сам, конечно, назвать болезнь не может и тем самым ставит врача в тупик, поскольку врач не может все болезни знать наизусть и не может писать в каждой путевке только: брюшной тиф или там вздутие живота.

Другие, конечно, говорят:

— Пиши чего хочешь, только отпусти, поскольку душа болит — охота поглядеть на домашних.

Ну, напишешь ему: душевная болезнь, и с этой диетой отпускаешь.

Но вот вскоре надоедает мне эта бестолковая профессия. И вот пишу я сам себе путевку с обозначением: душевная болезнь первой категории.

Выезжаю с фронта и, значит, на этом заканчиваю эту свою профессию.

После судьба кидает меня в разные стороны — туда и сюда, как, извините за сравнение, скорлупу в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, кузнецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. И так далее, и тому подобное, и прочее.

При этом снова год нахожусь на фронте в Красной Армии и защищаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструктора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уголовного розыска. Делаюсь шофером. И по временам пишу критические отзывы и острые дискуссионные статьи относительно театра и литературы.

И вот перед вами человек, который имел в своей жизни пятьдесят, а может, даже и больше профессий.

Некоторые профессии были у меня странные и удивительные. Была у меня до революции одна очень такая странная профессия.

А был я тогда в Крыму. И служил в одном имении. Там было четыреста коров. Масса коз, много курей и до черта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела.

И вот меня нанимают туда пробольщиком.

Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра.

Это масло и сыр отправлялись на пароходе за границу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара.

Конечно, дай вам попробовать масла или сыру — вы небось не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера и ежедневно и целый год, то вы волком завоете и свет перед вами померкнет.

Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию.

Мне тогда было двадцать три года. Все было тьфу и трын-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь найти работу.

И вот иду по дороге и слышу — молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел два дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю, подкараулю какую-нибудь корову, подою маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы.

Вижу — за забором сарай. Наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор. Захожу в сарай. Вижу — там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру — вдруг управляющий идет.

— Ты, говорит, что, из наших рабочих?

Нет, я особенно не смутился. Думаю — успею дать тигаля. Тем более — кругом народу нету и забор близко. И поэтому отвечаю с некоторым нахальством:

— Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное.

Он говорит:

— А, к примеру, зачем же ты в руку сыр взял?

Я говорю не без нахальства:

— Хотел, знаете, этот сыр попробовать — сдается мне, что он кисловат на вкус. Не умеете делать, а беретесь.

Вижу — управляющий даже растерялся от моих слов. Даже, видать, не понимает, что к чему.

Он говорит:

— Как это? Почему кисловат? Ты что, каналья, специалист, что ли, по молочному хозяйству?

Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить, с тем чтобы покрепче меня ударить. И говорю:

— Вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтобы их не попробовать.

Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит:

— Голубчик!

Он говорит:

— Голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалованье, только сделай милость, становись скорей на работу. Тут на днях заграничный пароход приходит, надо груз отправлять, а рассортировать товар и его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов, и после

неприятностей не оберешься. А у меня, как назло, один специалист холерой заболел и теперь категорически не хочет ничего пробовать.

Я говорю:

— Пожалуйста. А что надо делать?

Он говорит:

— Надо попробовать шестьсот двадцать бочек масла и тысячу кругов сыру.

У меня даже желудок задрожал от голоду и удивленья, и я отвечаю:

— Пожалуйста. Об чем речь? Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, говорю, давно мечтал именно такую профессию себе найти — пробовать то и се.

И сам в душе думаю: нажрусь до отвалу, а там пущай из меня лепешку делают. И небось не сделают — убегу на своих сытых ногах.

— Ну, говорю, несите поскорей буханку, я очень тороплив в работе. Если мне что загорится — мне сразу вынь и положь. Несите хлеб, а то я прямо соскучился без этой своей профессии.

Вижу — управляющий глядит на меня с недоверием.

Он говорит:

— Тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочные продукты пробуют без хлеба и без ничего, иначе не узнаешь, какой именно сорт и какой вкус.

Тут я вижу, что засыпался, но говорю:

— Это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я хлеб не для еды буду употреблять, а мне надо соприкасать эти два продукта, в силу чего я увижу окисление, и тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Это, говорю, есть последний заграничный метод. Я, говорю, удивляюсь на вашу серость и отсталость от Европы.

Тут меня торжественно ведут туда и сюда. Записывают. Одевают в белый балахон и говорят: «Ну, пойдем к бочкам».

А у меня от страху душа в пятках и ноги еле двигаются.

Вот пошли мы к бочкам, но тут на мое счастье вызывают управляющего по спешному делу. Тут у меня на сердце отлегло. Я говорю рабочим:

— Выручайте, братцы, то есть ни черта не понимаю в этом деле. Хотя укажите поскорей, чем пробовать масло — пальцем или особой щепочкой.

Вот рабочие смеются надо мной, умирают со смеху, тем не менее рассказывают, чего надо делать и, главное, чего говорить.

Вот управляющий приходит — я ему прямо затемнил глаза. Говорю разные специальные фразы, правильно пробую. Вижу — человек даже расцвел от моей высокой квалификации.

И вот к вечеру, нажравшись до отвалу, я решил не уходить с этого хлебного места. И вот остался.

Профессия оказалась глупая и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь, или не то достоинство, или там лишняя муха, или соль — надо браковать, чтоб не вызвать недовольства среди мировой буржуазии.

Ну, сразу, конечно, я не понимал разницы — каждое масло мне чересчур нравилось, но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже написал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела.

Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру да навернешь масла — лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре.

После вижу — что-то не того.

Через две недели я начал страдать, вздыхать и мечтать уже с этим расстаться.

Потому за день напробуюсь жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища не интересна, и жизнь кажется скучной и бестолковой.

И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать. Потому алкоголь отбивает вкус, и через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество.

Короче говоря, через две недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир и мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ, котлеты и так далее...

А был там у меня в этих краях один приятель. Один прекрасный грузин. Некто Миша. Очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, пробольщик. Но только в другом деле. Он пробовал вино.

Там в Крыму были такие винные подвалы — удельного ведомства. Вот там он и пробовал. И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей.

Ему даже кушать не разрешалось. С утра до вечера он пробовал вино и только вечером имел право чего-нибудь покушать.

Меня мутило от жиров, и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось. И аппетита не было.

А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит, и прямо свет ему не мил.

Вот в другой раз встретимся мы с ним вечером — я сытый, он пьяный, и видим — наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем неохота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало, и вкус во рту мерзкий. И сидим мы вроде как обалделые и в степь глядим. А в степи ничего. А над головой — небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь, полная веселья и радости...

Вот я ему однажды и говорю:

— Надо, говорю, уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я, безусловно, этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое человеческое достоинство. Я смотаю удочки, стибрю круг сыру — и только меня толстобрюхий управляющий и видел.

Он говорит:

— До осени уходить не расчет. Работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое

оригинальное придумать. Дай срок — я придумаю, голь на выдумки хитра.

И вот однажды он мне и говорит:

— Знаешь что — давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло, а ты временно пробуй вино. Неделю или две поработаем так, а после опять поменяемся. А потом опять. Вот оно и получится у нас какое-то равновесие. И, главное, отдохнем, если они, черти, не дают отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить.

Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие захотят этого.

Он говорит:

— Это я берусь уладить.

И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части.

— Вот, говорит, этот низенький опытный господин смело может меня заменить на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, какие тут вина и как чего надо делать. И через две недели возвращайтесь. А то мы натворили тут делов. Заместо столового вина взяли «Аликоте» в Москву отправили. Чистое безобразие.

Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстобрюхому управляющему.

— Вот, говорю, этот высокий опытный господин смело может заменить меня на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, как и чего, и через две недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. Заместо сливочного масла мы отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать.

Вот стали мы на свою новую работу.

Я пробую вино. А Миша пробует масло.

Но тут с нами происходит чушь и неразбериха.

В первый же день Миша наедается масла и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же двадцати глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля.

Тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться.

И Мише дали расчет и тоже велели убираться.

Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем — наплевать. Отдохнули пару дней и теперь снова можем приняться за свое ремесло.

Но тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали наш обман: и какие у нас две недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт.

Оба они призывают нас, кричат страшными голосами и велят убираться.

Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу.

А вскоре разразилась война. Потом революция. И я потерял своего друга из виду.

И недавно узнаю, что он проживает на Кавказе и имеет хорошую, чудную командную должность.

И я мечтаю к нему поехать. Мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: «Молодец!»

Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня! Тоже, может быть, скажет мне: «Молодец!» И велит подать лучший шашлык.

Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.

1933

КРАЖА

Воровство у нас есть. Но его как-то все-таки меньше.

Кое-кто успел перековаться и больше не ворует. А некоторых не удовлетворяет, как бы сказать, выбор ассортимента. Некоторые же, не видя крупных собственников и миллионеров, перестроились и крадут теперь у государства.

Но, конечно, естественно, крадут не так, как они это раньше производили.

Нынче только дурак крадет, не понимая современности.

А многие современность отлично понимают и уже осваивают новейшие течения.

Например, недавно в нашей кооперации произошла кража. Так за этой кражей видна, по крайней мере, философская мысль.

Вот как это было.

Кооперация. Вообще магазин. Так сказать, открытый распределитель.

Естественно, много товаров. Экспортные утки лежат на окне. Семга почему-то. Свиные, я извиняюсь, туши. Сыр. Это — из еды. И из вещей тоже много всего. Дамские чулки. Гребенки. И так далее.

Все это в изобилии набросано и, так сказать, очень выигрышно лежит на витрине.

И, конечно, естественно, это привлекло чей-то взор.

Короче говоря: кто-то такой с заднего входа влез в ночное время в магазин и сильно там похозяйничал.

И, главное, дворник у ворот спал, ничего такого не заметил.

— Какие-то сны, говорит, мне действительно в эту ночь показывали, но ничего такого потустороннего я не слыхал.

А он очень, между прочим, перепугался, когда это воровство обнаружили. Бегал по магазину, за всех цеплялся. Умолял его не подводить. И так далее.

Заведующий говорит:

— Твое дело маленькое. Что ты спал, за это тебя, конечно, по головке не погладят, но навряд ли тебе пришьют какое-нибудь обвинение. Так что ты не пугайся. Не путайся тут под ногами и не нервируй работников прилавка своими восклицаниями. А иди себе и досыпай дома.

Но дворник не уходит. Он стоит и расстраивается.

Главное, его расстраивает, что так много украли.

— Вот этого, говорит, я прямо не могу понять. Я сплю завсегда чутко и ноги протягиваю вдоль ворот. Не может быть, чтобы через меня два мешка сахару перенесли. Мне это очень странно.

Заведующий говорит:

— Дюже крепко спал, щучий сын! Это ужасти подобно, сколько унесли!

Дворник говорит:

— Чтоб много унесли, этого не может быть. Я бы проснулся.

Заведующий говорит:

— А вот сейчас составим акт и увидим, какая ты есть ворона — какой неимоверный убыток государству причинил.

Тут они начали составлять акт в присутствии милиции. Начали говорить цифры. Подсчитывать. Прикидывать. И все такое.

Бедняга дворник только руками всплескивает и чуть не плачет — до того, видать, граждански страдает человек, сочувствует государству и унижает себя за сонное состояние.

Заведующий говорит:

— Пишите: «Десять пудов рафинаду. Папирос — сто шестьдесят пачек. Дамские чулки — две дюжины. Восемь кругов колбасы...»

Он диктует, а дворник прямо подпрыгивает при каждой цифре.

Вдруг кассирша говорит:

— Из кассы, запишите, сперли боны на сто тридцать два рубля. Три чернильных карандаша и ножницы.

При этих словах дворник начал даже хрюкать и приседать — до того, видать, огорчился человек от громадных убытков.

Заведующий говорит милиции:

— Уберите этого дворника! Он только мешает своим хрюканьем.

Милиционер говорит:

— Слушай, дядя, уходи домой! Тебя попросят, когда надо будет.

В это время счетовод кричит из задней комнаты:

— У меня висело шелковое кашне на стене,— теперь его нету. Прошу записать,— я потребую возместить понесенные мне убытки.

Дворник вдруг говорит:

— Ах он подлец! Я не брал у него кашне. И восемь кругов колбасы — это прямо издевательство! Взято два круга колбасы.

Тут наступила в магазине отчаянная тишина.

Дворник говорит:

— Пес с вами! Сознаюсь. Я своровал. Но я сравнительно честный человек. И меня, может быть, возмущает такое составление акта. Я не дозволю лишнее приписывать.

Милиционер говорит:

— Как же это так? Значит, дядя, выходит, что это ты проник в магазин?

Дворник говорит:

— Я проник. Но я не трогал эти боны и ножницы, и это сволочное кашне. Я, говорит, взял, если хотите знать, полмешка сахару, дамские чулки одну дюжину и два круга колбасы. И я, говорит, не дозволю иметь такое жульничество под моим флагом. Я стою на страже государственных интересов. И меня, как советского человека, возмущает, что тут делается — какая идет нахальная приписка под мою руку.

Заведующий говорит:

— Конечно, мы можем ошибиться. Но мы проверим. Я очень рад, если меньше украли. Сейчас мы все это прикинем на весы.

Кассирша говорит:

— Пардон, боны завалились в угол. Боны не взяты. Но ножниц нету.

Дворник говорит:

— Ах, я ей плюну сейчас в ее бесстыжие глаза! Я не брал у нее ножней. А ну, ищи лучше, куриная нога! Или я тебя сейчас из кассы выну.

Кассирша говорит:

— Ах, верно, ножницы нашлись. Они у меня за кассу завалились. И там лежат.

Счетовод говорит:

— Кашне тоже найдено. Оно у меня в боковом кармане заболталось.

Заведующий говорит:

— Вот что, перепишите акт. Сахару действительно не хватает полмешка.

Дворник говорит:

— Считай колбасу! Или я сам за себя не отвечаю. У меня, если на то пошло, есть свидетельница — тетя Нюша.

Вскоре подсчитали товар. Оказалось, украли все, как сказал дворник.

Его взяли под микитки и увели в отделение.

И его тетю Нюшу тоже задержали. У ней эти продукты были спрятаны.

Так что, как видите,— тут украли на копейку, а навернули на тысячу.

И тут чувствуется современная оперативность и тот творческий полет философской мысли, без чего, говорят, сейчас никак нельзя.

Без этого теперь только дурак ворует. И вскоре попадается.

1933

НА ДНЕ

Воровское занятие представляет в настоящее время незначительный интерес.

Профессия эта стала маловыигрышная наряду с другими занятиями.

Через это воровство уменьшилось в своем размере. И публика на это идет не так охотно, как раньше.

Отчасти, конечно, многие перековались, а некоторых, как говорится, не устраивает выбор ассортимента. Вдобавок ко всему наша милиция и уголовный розыск поднялись на недосягаемую высоту.

Вот взгляните, какое истинное происшествие случилось у нас в Ленинграде.

Один гражданин, некто Ф., немного выпил. Он получил деньги, зашел в какой-то приятный восточный уголок, присел там под пальму и, как говорится, немножко перелил через край.

Конечно, потом-то он говорил, что пил мало. А больше будто бы налег на еду. По его словам, он пропустил только пару стопок русской горькой и после слегка отлакировал пивом. Так что кто

его знает, может быть, он действительно от обильной еды, чем от чего другого, совершенно захмелел. И даже начал соло петь под оркестр.

А это увидели два бандита. Они сидели тут же, в ресторане, и, может быть, горевали о чем-нибудь своем. И вдруг видят — сидит против них «пассажир», кругом у него на столике еда и мандарины. И сам он еле «мама» сказать может.

Конечно, это развязало низкие инстинкты двух приятелей. Сердце у них взыграло. И они задумали совершить свое темное дело над заблудившим зажиточным жителем нашего города.

И вот они подсели до него. Сказали ему пару комплиментов. И тот, увидев ласку чужих людей, вдохновился, выпил еще и надрался, как говорится, до шариков.

И вот тогда представители уголовного мира вывели нашего беспутного гражданина на улицу, завели в переулок, там ударили его по мордасам и обобрали до последней нитки.

Они сняли с него пальтишко и костюм со штанами. Содрали с него полуботинки. И даже не постеснялись взять с него верхнюю рубашечку «зефир».

Так что оставили нашего почтенного папашу и прекрасного работника строительного сектора тов. Ф. совершенно в архиневозможном виде.

При нем оставили только кальсоны и носки, которые не взяты были по причине дряхлости товара.

Ограбленный папаша, мало чего соображая, прикорнул в таком немыслимом виде у забора и сладко заснул.

Только проспал он, может быть, не больше часа и вдруг неожиданно проснулся — ему, что ли, попить захотелось.

Вот он хвать-похвать себя за штаны — а их нету. Он щупает себя повыше — а пиджака нету и рубашки не имеется. Только подштанники при нем и носочки.

Тогда он трогает себя еще повыше и видит: личность у него повреждена — распухши и что-то ноет.

Вот наш папаша ужаснулся, мигом протрезвел, вскочил на полуодетые свои ножки и, как говорится, попорол домой.

Наверно, он, где можно, бежал, придерживая рукой свои подштанники, а кое-где, наоборот, шел, вероятно, тихо, скрываясь в тени домов.

И действительно неудобно, совестно. Может быть, уже начинается утро. Птички—чирик-чирик. Вдобавок культурный, образцовый город. Всюду чистенько и славно. А тут, вообразите себе, идет такая образина, все равно как по предбаннику.

Представляем себе, как дворник у ворот удивился. Наверное, хрюкая от смеха, пропустил в калитку.

Но вот момент входа в квартиру и момент появления перед родными вообще не поддается художественному описанию. И мы смолкаем под давлением более красочной действительности.

Так или иначе, наш славный гражданин доперся до своей квартиры и закрылся в своей комнате, унеся с собой тайну ночного ограбления.

Теперь происходит такая ситуация.

Уголовный розыск в ту же ночь задержал этих двух воров.

Стали их расспрашивать, где украдены вещи. Те не могут объяснить. Так что, говорят, с человека сняли. В переулке.

Пошли в переулок. А там уже нету этого человека.

Работники розыска говорят:

— Ненормально. Вещи есть. Воры есть. Все как будто в полном порядке. А потерпевшего нету. И, значит, самые большие трудности у нас впереди. Придется его искать. И сдается нам, судя по приличным вещам, что потерпевший заметет свои следы. Это у нас который раз. Преступники нам сравнительно легко даются, а пострадавших нам наиболее трудно отыскать. Очень они не любят, чтоб их находили. И они предпочитают терять одно, чтобы не потерять другое.

В общем, три дня шарили по городу. Искали потерпевшего. Выясняли и запрашивали. Никто не признается. Может быть, потерпевший стыдится, что был в таком свинском виде, и, может быть, робеет перед общественностью.

Однако работники розыска не упали духом. И на четвертый день потерпевшего нашли. Они отыскали его по почтовой квитанции, которая была в кармане его украденных брюк.

Потерпевший отнекивался и всех уверял, что это не он был избит и раздет, но истина все же восторжествовала. Была устроена очная ставка с ворами. И те сразу признали в нем свою жертву.

Один из воров говорит:

— Это определенно он. Я его по скуле узнаю. Вот у него тут осталась заметка от моей руки.

Тогда жертва, потупив очи, говорит:

— В таком случае сознаюсь. Это был я. Просьба не доводить до сведения общественности.

Тут работники розыска посмеялись и сказали жертве:

— В другой раз пейте и кушайте, но не теряйте своего сознания. Получите снятые с вас вещи и можете идти.

А воры не без испуга поглядывали на то, что происходит, и промежду себя перешептывались о трудностях своего ремесла в настоящее время.

1935

ВОДЯНАЯ ФЕЕРИЯ

Один московский работник кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

И он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный, уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали заходить друзья и приятели.

И как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Поскольку многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить многие, конечно, не так-то любят и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка и так далее.

И многие, конечно, через это любят, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента, когда наконец разыгралась катастрофа.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до этой ванны небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. И та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и дожидавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня вымыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. И пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку и стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекла в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, наши два приятеля проснулись от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не дозволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решались добежать до ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегает администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А среди наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допускал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом говорит администрации:

— А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Администрация говорит:

— Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

— А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

— Тысчонок, мы так полагаем, семь-восемь будет стоить эта операция...

Сумма эта совершенно подкосила силы москвича, и он прилег на диван, мало чего соображая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаясь, так сказать, дать тигаля. Но был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком, говорит администрации:

— Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае не надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб платить за этих самых херувимов...

Администрация говорит:

— Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но администрация говорит:

— На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

— Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при научно правильном расчете вода не имеет права выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и судьбу, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

— Конечно, иначе не могло и быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились ночные туфли и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

— Подайте заявление — мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Приятель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

На другой день он все же пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то, что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

1935

ПОЕЗДКА В ГОРОД ТОПЦЫ

Недавно моей супруге понадобилось съездить на периферию.

Там, на периферии, у нее один родственник серьезно захворал. С ним какая-то, что ли, душевная болезнь приключилась. И, значит, растерявшиеся родственники вызвали мою супругу на периферию, в город Топцы.

Конечно, предстоящая поездка взволновала нашу семью. Все-таки, думаем, сложно, хлопотно, билеты доставать и так далее. Но ничего не поделаешь: надо ехать.

Ну, конечно, запаслись на всякий случай разными справками и удостоверениями. Со своей службы я ей тоже достал бумажку: мол, едет по семейно-служебным обстоятельствам. И вдобавок один знакомый хирург дал удостоверение в том, что психические болезни требуют тщательного ухода со стороны родственников. И что он просит предъявительнице сего оказывать всемерную медицинскую поддержку при поездке на периферию.

И вот с этими документами мы сходили к начальнику станции. Но тот оказался бездушный и негуманный человек, равнодушно относящийся к больным кадрам.

Он сказал:

— Прошу оставить мой кабинет. Никаких билетов я тут не выдаю. Обратитесь в кассу и там покупайте себе билеты.

Его иронию мы восприняли болезненно и решили тогда воспользоваться одним нашим довольно крупным знакомым, которого мы вообще если и хотели тревожить, то только в самых исключительных и грозных обстоятельствах.

Но этот работник оказался неуловим. Он все время где-то заседал, ездил, и мы его так и не нашли.

Тогда моя супруга смоталась еще к одному знакомому, орденоносцу, но тот отказался что-либо предпринять, говоря, что в этом отношении он пасует.

Тогда супруга решила было послать телеграмму в Топцы с отказом, поскольку все кнопки были нажаты и все связи были использованы, но тут мне пришла старая, но светлая мысль — обратиться к носильщику. И хоть это и нельзя, но я решил покривить душой ради родственного начала. Я решил дать кое-что носильщику, с тем чтобы он мне достал билет в город Топцы.

Я понимаю, что это — преступление перед обществом, но вместе с тем мы нашего заболевшего родственника тоже не в дровах нашли. А он был в аккурат до своей болезни весьма ценным членом общества. Он служил в одном учреждении по хозяйственной части, и — что бы там ни говорили — он приносил посильную помощь в деле построения дальнейшей жизни. И сейчас, поскольку он свихнулся, он, конечно, вправе требовать до себя внимания и ухода.

Этими мыслями я поделился с носильщиком, когда прибыл на вокзал.

Носильщик гуманно говорит:

— Честно вам скажу: мне бы не хотелось этим поганить свою душу. Но поскольку налицо ненормальность вашего родственника, то я хочу к этому чутко подойти. А за некоторый риск и услуги я попрошу с вас двадцать рублей. Приходите вечером сюда, и вы поедете.

И вот только я отошел от этого носильщика, чтоб пойти домой, как вдруг вижу: касса. Обыкновенная, представьте себе, дырка в стене, и там кто-то сидит. И вижу надпись: «Касса».

Я на всякий случай подошел туда.

Протягиваю кассиру документы.

Тот говорит:

— Не тычьте мне ваши бумаги, у меня и без того в глазах рябит от множества железнодорожных билетов.

Тогда я рассказываю кассиру о своих мытарствах и о свихнувшемся родственнике.

Кассир говорит:

— Не знаю, как ваш родственник, но ваша ненормальность заключается в том, что вы напрасно нажимали все кнопки и без устали хлопотали: вы можете свободно подойти к моей кассе и можете свободно купить билет в эти ваши Топцы.

Я говорю:

— Мне как-то странно это слышать. Может, говорю, тут какое-нибудь недоразумение? Носильщик, говорю, и тот еле взялся за двадцать целковых.

Кассир говорит:

— Красиво на жизнь смотрите, раз можете по двадцать рублей кидать жуликам. Короче говоря, сколько вам надо билетов, чтоб поехать в Топцы?

И тут он щелкает билет на своей компостерной машинке и гуманно мне подает.

Я недоверчиво беру этот билет, и тут мы с кассиром начинаем смеяться и подшучивать.

Потом я говорю:

— Наверно, через пару лет это поразительно что будет. Не только, говорю, в Топцы, а во все места будет — ну, просто не вопрос ехать.

Кассир говорит:

— Еще не то будет. Откровенно вам скажу: по своей линии я и то кое-что придумываю. Я, говорит, уважаемый товарищ, на каждый купленный билет хочу пассажирам сюрпризики выдавать. Дамам — по живому цветку, а мужчинам — что придется: ну, там лезвие для бритвы, расческу, мыльце, брюки... Дальним — какую-нибудь статуэтку или гигиеническую брошюрку. Ну, не пройдет мой проект — не надо, а пройдет — так меня, может, даже и к какой-нибудь награде представят.

Тут мы попрощались с кассиром и отбыли домой.

Ну, супруга горячо отнеслась к поездке. Моментально, конечно, собралась и вечером укатила в Топцы.

Конечно, с дороги она прислала очень даже резкое и, прямо даже скажу, грубое письмо, зачем я ей купил билет на этот поезд. Все другие составы свободно, дескать, перегоняют этот поезд для молочниц.

Но по приезде в Топцы ее раздражительность прошла, и она прислала любезную открытку, что у свихнувшегося родственника было временное затмение и что он сейчас снова реагирует почти на все, что вокруг него происходит. И даже просил кланяться и благодарить за проявленную чуткость со стороны родственников.

Пламенный привет ему и пожелания дальнейшего выздоровления, возможного только в условиях бережного отношения!

1935

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Откровенно говоря, я предпочитаю хворать дома.

Конечно, слов нет, в больнице, может быть, светлей и культурней. И калорийность пищи, может быть, у них более предусмотрена. Но, как говорится, дома и солома едома.

А в больницу меня привезли с брюшным тифом. Домашние думали этим облегчить мои неимоверные страдания.

Но только этим они не достигли цели, поскольку мне попалась какая-то особенная больница, где мне не все понравилось.

Все-таки только больного привезли, записывают его в книгу, и вдруг он читает на стене плакат: «Выдача трупов от 3-х до 4-х».

Не знаю, как другие больные, но я прямо закачался на ногах, когда прочел это воззвание. Главное, у меня высокая температура, и вообще жизнь, может быть, еле теплится в моем организме, может быть, она на волоске висит — и вдруг приходится читать такие слова.

Я сказал мужчине, который меня записывал:

— Что вы, говорю, товарищ фельдшер, такие пошлые надписи вывешиваете? Все-таки, говорю, больным не доставляет интереса это читать.

Фельдшер, или как там его — лекпом, удивился, что я ему так сказал, и говорит:

— Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть у него пар изо рту не идет от жара, а тоже, говорит, наводит на все самокритику. Если, говорит, вы поправитесь, что вряд ли, тогда и критикуйте, а не то мы действительно от трех до четырех выдадим вас в виде того, что тут написано, вот тогда будете знать.

Хотел я с этим лекпомом схлестнуться, но поскольку у меня была высокая температура, 39 и 8, то я с ним спорить не стал. Я только ему сказал:

— Вот погоди, медицинская трубка, я поправлюсь, так ты мне ответишь за свое нахальство. Разве, говорю, можно больным такие речи слушать? Это, говорю, морально подкашивает их силы.

Фельдшер удивился, что тяжелобольной так свободно с ним объясняется, и сразу замял разговор. И тут сестричка подскочила.

— Пойдемте, говорит, больной, на обмывочный пункт.

Но от этих слов меня тоже передернуло.

— Лучше бы, говорю, называли не обмывочный пункт, а ванна. Это, говорю, красивей и возвышает больного. И я, говорю, не лошадь, чтоб меня обмывать.

Медсестра говорит:

— Даром что больной, а тоже, говорит, замечает всякие тонкости. Наверно, говорит, вы не выздоровеете, что во все нос суете.

Тут она привела меня в ванну и велела раздеваться.

И вот я стал раздеваться и вдруг вижу, что в ванне над водой уже торчит какая-то голова. И вдруг вижу, что это как будто старуха в ванне сидит, наверно, из больных.

Я говорю сестре:

— Куда же вы меня, собаки, привели — в дамскую ванну? Тут, говорю, уже кто-то купается.

Сестра говорит:

— Да это тут одна больная старуха сидит. Вы на нее не обращайте внимания. У нее высокая температура, и она ни на что не реагирует. Так что вы раздевайтесь без смущения. А тем временем мы старуху из ванны вынем и набуровим вам свежей воды.

Я говорю:

— Старуха не реагирует, но я, может быть, еще реагирую. И мне, говорю, определенно неприятно видеть то, что там у вас плавает в ванне.

Вдруг снова приходит лекпом.

— Я, говорит, первый раз вижу такого привередливого больного. И то ему, нахалу, не нравится, и это ему нехорошо. Умирающая старуха купается, и то он претензию выражает. А у нее, может быть, около сорока температуры, и она ничего в расчет не принимает и все видит как сквозь сито. И, уж во всяком случае, ваш вид не задержит ее в этом мире лишних пять минут. Нет, говорит, я больше люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. По крайней мере тогда им все по вкусу, всем они довольны и не вступают с нами в научные пререкания.

Тут купающаяся старуха подает голос:

— Вынимайте, говорит, меня из воды, или, говорит, я сама сейчас выйду и всех тут вас распатроню.

Тут они занялись старухой и мне велели раздеваться.

И пока я раздевался, они моментально напустили горячей воды и велели мне туда сесть.

И, зная мой характер, они уже не стали спорить со мной и старались во всем поддакивать. Только после купанья они дали мне огромное, не по моему росту, белье. Я думал, что они нарочно от злобы подбросили мне такой комплект не по мерке, но потом я увидел, что у них это — нормальное явление. У них маленькие больные, как правило, были в больших рубахах, а большие — в маленьких.

И даже мой комплект оказался лучше, чем дру-

гие. На моей рубахе больничное клеймо стояло на рукаве и не портило общего вида, а на других больных клейма стояли у кого на спине, а у кого на груди, и это морально унижало человеческое достоинство.

Но поскольку у меня температура все больше повышалась, то я и не стал об этих предметах спорить.

А положили меня в небольшую палату, где лежало около тридцати разного сорта больных. И некоторые, видать, были тяжелобольные. А некоторые, наоборот, поправлялись. Некоторые свистели. Другие играли в пешки. Третьи шлялись по палатам и по складам читали, чего написано над изголовьем.

Я говорю сестрице:

— Может быть, я попал в больницу для душевнобольных, так вы так и скажите. Я, говорю, каждый год в больницах лежу, и никогда ничего подобного не видел. Всюду тишина и порядок, а у вас что базар.

Та говорит:

— Может быть, вас прикажете положить в отдельную палату и приставить к вам часового, чтоб он от вас мух и блох отгонял?

Я поднял крик, чтоб пришел главный врач, но вместо него вдруг пришел этот самый фельдшер. А я был в ослабленном состоянии. И при виде его я окончательно потерял свое сознание.

Только очнулся я, наверно, так думаю, дня через три.

Сестричка говорит мне:

— Ну, говорит, у вас прямо двужильный организм. Вы, говорит, скрозь все испытания прошли. И даже мы вас случайно положили около открытого окна, и то вы неожиданно стали поправляться. И теперь, говорит, если вы не заразитесь от своих соседних больных, то, говорит, вас можно будет чистосердечно поздравить с выздоровлением.

Однако организм мой не поддался больше болезням, и только я единственно перед самым выходом захворал детским заболеванием — коклюшем.

Сестричка говорит:

— Наверно, вы подхватили заразу из соседнего флигеля. Там у нас детское отделение. И вы, наверно, неосторожно покушали из прибора, на котором ел коклюшный ребенок. Вот через это вы и прихворнули.

В общем, вскоре организм взял свое, и я снова стал поправляться. Но когда дело дошло до выписки, то я и тут, как говорится, настрадался и снова захворал, на этот раз нервным заболеванием. У меня на нервной почве на коже пошли мелкие прыщики вроде сыпи. И врач сказал: «Перестаньте нервничать, и это у вас со временем пройдет».

А я нервничал просто потому, что они меня не выписывали. То они забывали, то у них чего-то не было, то кто-то не пришел и нельзя было отметить. То, наконец, у них началось движение жен больных, и весь персонал с ног сбился. Фельдшер говорит:

— У нас такое переполнение, что мы прямо не поспеваем больных выписывать. Вдобавок у вас только восемь дней перебор, и то вы поднимаете тарарам. А у нас тут некоторые выздоровевшие по три недели не выписываются, и то они терпят.

Но вскоре они меня выписали, и я вернулся домой.

Супруга говорит:

— Знаешь, Петя, неделю назад мы думали, что ты отправился в загробный мир, поскольку из больницы пришло извещение, в котором говорится: «По получении сего срочно явитесь за телом вашего мужа».

Оказывается, моя супруга побежала в больницу, но там извинились за ошибку, которая у них произошла в бухгалтерии. Это у них скончался кто-то другой, а они почему-то подумали на меня. Хотя я к тому времени был здоров, и только меня на нервной почве закидало прыщами. В общем, мне почему-то стало неприятно от этого происшествия, и я хотел побежать в больницу, чтоб с кем-нибудь там побраниться, но как вспомнил, что у них там бывает, так, знаете, и не пошел.

И теперь хвораю дома.

1936

В ТРАМВАЕ

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением. Тут же солнце закатывается. Одним словом, очень, как говорится, божественно.

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито говорит пассажиру:

— Что ж вы думаете: я даром вас повезу? Платите, короче говоря, деньги или сойдите с моего вагона.

И слова, которые она произносит, относятся к скромно одетому человеку. И стоит этот человек со своим постным лицом и, одним словом, не платит за проезд. Он отвиливает платить. И то роется в карманах и ничего там не находит, то говорит уклончиво:

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошенькие у нее губки, и так она сильно ерепенится и этим портит свою наружность... Ну нет у меня денег... Сейчас сойду, милочка, только одну остановку проеду...

— То есть никакой остановки я тебе даром не дам проехать,— говорит кондукторша.— А если

у тебя денег нет, так зачем же ты, нахал, в трамвай вперся? Вот чего я никак не пойму.

Пассажир говорит:

— Тоже пешком идти — может быть, у меня пузыри на ногах? Какие нечувствительные люди в настоящее время. Совершенно не входят в положение человека. Только за все деньги, деньги и деньги. Прямо, может быть, этого не оберешься. Только давай, давай, давай...

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне становится жалко человека, у которого нет даже нескольких грошей на проезд в трамвае.

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше:

— Примите за того, который с постным лицом. Я заплачу за него.

Кондукторша говорит:

— Никакой уплаты со стороны я не разрешаю.

— То есть, говорю, как же вы можете не разрешить? Вот тебе здравствуйте!

— А так, говорит, и не разрешу. И если у него нету денег, то и пущай он пешком шкандыбает. А на своем участке работы я не дозволю поощрять то, с чем мы боремся. И если у человека нету денег — значит, он их не заслужил.

— Позвольте, говорю, это негуманно. К человеку надо гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. Человека, говорю, надо жалеть и ему помогать, когда с ним что-нибудь происходит, а не тогда, когда ему чудно живется. А вдобавок это, может быть, мой родственник, и я его желаю поддержать на основе родственных чувств.

— А вот я вашего родственника сейчас отправлю в одно местечко,— говорит кондукторша и, свесившись с трамвая, начинает трещать в свой свисток.

Пассажир с постным лицом говорит, вздохнувши:

— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу.

Он вынимает из кармана записную книжку, вытаскивает из нее три червонца и со вздохом говорит:

— Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не дозволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Кондукторша говорит:

— Чего вы суете мне в нос такие крупные деньги? У меня нету сдачи. Нет ли у кого разменять?

Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд пассажира, отложил свои намерения:

— Вот то-то и оно,— сказал пассажир.— Через это я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезультатно и в трамвае не могут ее разменять.

— Какая канитель с этим человеком,— говорит кондукторша.— Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к черту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берется за звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

— Эта кондукторша что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить, я сейчас заплачу. Вот действительно какой ядовитый человек попался...

Он роется в кармане и достает двугривенный.

Кондукторша говорит:

— Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось хотел на пушку проехать.

Пассажир говорит:

— Всем давать — потрохов не хватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия. Через такие мелочи трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

— И хотя это мелочи,— сказала кондукторша, обращаясь к публике,— но они затрудняют плавный ход движения государственного аппарата. И я через это пропустила целую массу безбилетных пассажиров. И его пятнадцать копеек обошлись государству рублей шесть.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая.

И тогда кондукторша сказала:

— Какие бывают отпетые подлецы!

Потом мы снова въехали на какой-то мост, и я снова увлекся картинами природы, позабыв о мелочах, связанных с движением транспорта.

1936

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу, с тем чтобы пойти домой, и, конечно, через это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее прости.

Не то чтобы он горячо любил своего папеньку и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть, напротив, он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа

такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия — мол, все, как у людей,— дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папа́нька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый бережет рожу, а бедный — одежу».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И вдобавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился, какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик, наверное, был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какуюнибудь чушь, вроде того как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли, молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давясь от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаня, не ходите на улицу — ожидается облава на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное, не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего пребывания он в пивной надрызгался и стал там буянить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд — тут заблудиться. Тем более он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще два-три квартала.

Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

Но этот маленький жест почтения и вежливости, рассчитанный в свое время на генералов и баронов, произвел исключительное впечатление на нашего приезжего старика.

Старик аж задрожал, когда ему постовой отдал честь вторично и, стало быть, тем самым показал, что тут ошибки не было, а было то, что ему полагалось.

И тогда старик, как потом выяснилось, снова еще раз подошел уже к другому милиционеру и снова получил приветствие, которое с еще большей силой запало в его слабую душу.

Конечно, я не знаю, может ли быть, чтоб это сразу отразилось на характере, но все заметили, что старикан вернулся домой в высшей степени сдержанный и, проходя мимо дворника, не вступил с ним в обычные пререкания, а молча отдал ему честь и проследовал к себе.

Не знаю, может ли быть, что такая мелочь и такой, в сущности, пустяк могли сыграть известную роль в смысле перековки характера, но все заметили, что с папашей Гавриловым что-то произошло другое и в высшей степени оригинальное.

Кое-кто видел, как он на углу около своего дома пару раз подходил к милиционеру и с ним вежливо беседовал.

И многие, грубоватые в своем уме, увидев перемену, приписали ее страху, который старик испытал, когда его хотели волочить в милицию. Но некоторые поняли по-другому.

И один интеллигент с нашей квартиры, страдающий сахарной болезнью, сказал про этот случай:

— Я завсегда отстаивал ту точку зрения, что уважение к личности, похвала и почтение приносят исключительные результаты. И многие характеры от этого раскрываются буквально как розы на рассвете.

Большинство с ним не согласилось, и даже у нас в квартире произошла безрезультатная дискуссия.

А дня через три папаша Гаврилов заявил сво-

ему сыну, что срочные дела требуют его отбытия в деревню.

Некоторые из нашей квартиры, желая загладить перед стариком свои неуклюжие шутки, пошли его провожать на вокзал.

И когда поезд тронулся, папа, стоя на площадке, отдал всем провожающим честь.

И все засмеялись, и папа засмеялся и уехал к себе на родину.

И там он, наверное, внесет теперь некоторую любезность в свои отношения к людям. И от этого ему в жизни станет еще более светло и приятно.

1936

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Современная молодая женщина не любит, когда ей говорят уменьшительные слова. Она не любит, когда ей говорят: «ротик», «ручки» или «ножки».

Она на это сердится. И даже, я так думаю, через это может разрыв произойти.

Одна особа мне так и сказала:

— Какие, к черту, ножки. Я, говорит, сорок первый размер бареток ношу, а вы, говорит, все свое. Подлец вы, говорит, а не человек. Вы, говорит, мне жизнь губите своей дурацкой чувствительностью.

Откровенно вам сказать, я даже опешил от таких слов.

Она говорит:

— Это, говорит, в прежнее время избалованные дамы или там графини любили в своих будуарах такие сентиментальности. А я, говорит, плюю на таких мужчин, как вы.

— Вот тебе, говорю, здравствуйте. Как, говорю, понимать ваши слова?

А как понимать ее слова, когда она с тех пор мне по телефону ни разу не звонила и при встрече со мной не поздоровалась?

А это верно: современные молодые женщины любят что-нибудь смелое, героическое. Им, я заметил, не нравится что-нибудь обыкновенное. Они любят, чтобы мужчина был непременно летчик или там в крайнем случае бортмеханик. Тогда они расцветают, и их не узнать.

А интересно их спросить: что же, все люди, что ли, должны быть летчиками и бортмеханиками?

Конечно, я ничего не говорю, профессия бортмеханика до некоторой степени удивительная, и она вызывает разные эмоции у зрителей. Но тоже, как говорится, невозможно, чтоб все без исключения летали под небеса.

Некоторым приходится занимать более скромные земные посты в канцеляриях и так далее.

А то им еще почему-то нравятся кинооператоры. Это уж прямо, как говорится, неизвестно почему. Крутит ручку и думает: «Наполеон».

Еще тоже вызывают женскую любовь приехавшие из Арктики. Ну, льды там. Снег. Северное сияние. Подумаешь!

Вообще говоря, я четыре раза женился, и все как-то такое у меня не вытанцовывалось. Ну, первые две жены увлеклись бортмеханиками. Третья сошлась с кинооператором. Ну, как говорится, это бывает. Но четвертый брак меня удивил своей неожиданностью. И я как гражданин, испытавший это, должен предостеречь остальных мужчин от подобных бракосочетаний.

У меня было знакомство с одной особой. И мы решили с ней пожениться. Но я ее честно предупредил:

— Имейте в виду, говорю, я не порхаю под небеса и навряд ли, говорю, для вашего удовольствия когда-нибудь прыгну с крыши с парашютом. Так что если вы увлекаетесь небесной профессией, то вопросов, как говорится, к вам не имею. И тогда давайте замнем вопрос о браке.

Она говорит:

— Профессия не играет роли. И к летчикам я отношусь равнодушно. Но мне единственно важно, чтоб наш союз был до некоторой степени свободный. Я не люблю стеснений личности. Я, говорит, до вас семь лет была замужем, и муж меня даже в театр с кем-нибудь не пускал. И теперь я бы желала иметь с вами брак, основанный на товарищеских условиях. И если, например, вы кем-нибудь увлечетесь, я вам ничего не скажу. А если я кого-нибудь встречу, то и вы тем более мне не будете возражать. И тогда наш брак, наверно, будет более продолжительный, основанный на разумном понимании двух любящих сердец. А то, что муж будет иметь мелкую профессию, то это даже и лучше. По крайней мере, он будет знать свое место и не станет с меня требовать невозможного.

Я говорю ей:

— Я четвертый раз женюсь, и у меня, говорю, ум за разум заходит от всевозможных понятий. То, говорю, одна не велит уменьшительные слова ей говорить. То, говорю, другая сходится с кинооператором. То, говорю, вы еще что-то мне преподносите. Но, говорю, поскольку мое сердце занято вами, то пускай будет по-вашему.

И вот, конечно, мы женимся и живем на разных квартирах. И все у нас идет хорошо и дружелюбно. Но вдруг она через неделю увлекается одним своим знакомым, который прибыл из Арктики.

Она мне говорит согласно нашего договора:

— Если хотите, давайте разойдемся. Но если еще питаете ко мне некоторые чувства, то давайте придерживаться наших условий. Тем более мой знакомый снова в скором времени уезжает в экспедицию, и тогда у нас с вами опять что-нибудь хорошее получится.

И вот я, как дурак, ожидаю его отъезда месяц и два. И наконец моя соседка по комнате говорит:

— Напрасно будете ее ждать. Ваше дело битое: она к вам нипочем назад не вернется.

Но проходит еще месяц, и вдруг моя супруга возвращается со словами: я, дескать, его окончательно отшила, тем более что он снова уехал в свое северное путешествие.

Я говорю:

— Но теперь с моей стороны возникли препятствия: я, говорю, увлекся своей соседкой. А если у вас остались ко мне чувства, то, говорю, я согласен с ней разойтись.

И вот я стал расходиться со своей соседкой. И только я с ней разошелся, гляжу: моя супруга

через месяц спокойной жизни снова увлеклась приятелем и спутником по путешествию того человека, который уехал в Арктику. А этот полярник почему-то остался. И она им увлеклась. И стала с ним жить.

Вот я, согласно условию, жду несколько месяцев и вдруг узнаю, что у нее будет от него ребенок.

Я говорю ей:

— Интересный брак у нас получается. Эти, говорю, полярники, бортмеханики и кинооператоры меня буквально с ног валят.

Она говорит:

— Хотите — подождите, когда он меня разлюбит или когда ребенок немного подрастет. И тогда будем продолжать наши условия. А не хотите — так как хотите. Вообще, говорит, вы мне прямо надоели своим вечным нытьем и недовольством. Я, говорит, не от себя завишу. Мое сердце мне подсказывает, каких современных мужчин мне любить и каких ненавидеть. Не только, говорит, вы не имеете значка ГТО, но хоть бы для смеха прошли курс санитарной обороны. Уж я не говорю, чтобы вы были ворошиловский стрелок или поехали бы куда-нибудь на север. Не эти, говорит, профессии вас с ног валят, а просто у вас характер неинтересный, далекий от современности. Нынче богачей нету, и капиталом свое убожество прикрывать не приходится, так что надо улучшать свою личность, чтоб заслужить женскую любовь.

Я говорю:

— То одна не велит уменьшительных слов произносить, то другая детей преподносит. И вдобавок мне лекции читает.

Вдруг она открывает дверь в соседнюю комнату и кричит уменьшительные слова:

— Ванечка, этот типус опять к нам скандалить пришел. И хотя он мой муж, но выгони его к черту. Я, говорит, чувствую, что через него истерику наживу.

И вдруг входит в комнату приятель того, который в Арктику уехал. Здоровенный такой мужчина, закаленный северным воздухом. И вдобавок парашютист, со значком.

— Об чем, говорит, молодой человек, вы тут загораетесь?

Я попрощался с ним и ушел с намерением все это описать, чтоб другие нелетающие мужчины остерегались попадать в такое же, как говорится, непромокаемое положение.

Я гляжу против таких свободных браков. Я стою за более крепкий брак, основанный на взаимном чувстве. А где это чувство взять, ежели я и парашюта никогда в глаза не видел? И севернее Лигова нигде не жил.

Прямо хоть становись героем, чтобы сравняться с остальным населением.

1936

ПАРУСИНОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Я прошу извинить, дорогие читатели, что задерживаю вас на таком пустяке, на незначительном факте, не стоящем, может быть, вашего просвещенного внимания, устремленного в другие дела. Но уж очень я забавное дело слушал в народном суде.

Один, представьте себе, муж весьма часто ходил на вечерние сверхурочные работы. Так он, по крайней мере, объяснял своей жене. А на самом деле у него никаких сверхурочных не было, а попросту он ходил в гости к одной своей землячке из Ростова.

У них в свое время в городе Ростове была пылкая любовь, и вот теперь они снова не без интереса встречались. Они ходили в кино, в театры и так далее.

Но дома он, конечно, говорил, что у него экстренные занятия, брал для отвода глаз портфель и шествовал к своей подруге.

Наверно, он не хотел, как говорится, затемнять семейные горизонты личными делами и поэтому так поступал. Тем более что у него была жена и сынишка лет десяти.

Вот однажды, придя со службы домой и покушавши, он сказал жене, что сегодня вечером он должен пойти на одно экстренное заседание.

Жена начала ахать и говорить, что его что-то уж слишком загрузили делами, что он, благодаря этому, совершенно отбился от дому, что это ни на что не похоже и что если это так будет продолжаться, то она напишет об этом самому товарищу Микояну или кому-нибудь из крупных хозяйственников, что, дескать, вот что получается.

Еле отвертевшись от семейных разговоров, наш муж надел пальто, взял портфель и направился к выходу.

Но едва он хотел выйти на лестницу, как вдруг в квартиру вошел счетчик из Электротока.

Наш муж, желая посмотреть, сколько у него нагорело электричества, немного задержался в передней. И, узнав сумму, вытащил бумажник из кармана и дал деньги своей жене с просьбой тут же расплатиться. А сам поскорей вышел, чтобы снова, чего доброго, не возникли разговоры.

Но тут случилось, что он, торопясь и волнуясь, что опаздывает, взял портфель счетчика вместо своего портфеля и с ним поспешно вышел.

А это был обыкновенный грубый парусиновый портфель. И в нем были разные официальные бланки, документы, карточки и так далее.

Но наш инженер, находясь мыслями в другом месте, просто даже не заметил, что он несет.

А надо сказать, что в его собственном портфеле, как на грех, были положены конфеты, которые он хотел преподнести своей знакомой, какое-то еще дамское шелковое кашне и хорошенький бювар для писания писем.

Вот, значит, этот злополучный портфель с подарками остался в передней на стуле, а сам инженер с парусиновой чепухой прибыл к своей подруге.

Но поскольку он запоздал, или уж я не знаю что, она не смогла его принять. То есть она вышла к нему в переднюю и с ним мило объяснилась, но сказала, что у нее сейчас сидит приехавший из провинции какой-то ее дядя с маминой стороны и она, думая, что инженер не придет, договорилась уже со своим дядей куда-то пойти.

Находясь в большом огорчении, наш инженер не сразу, конечно, ушел, а он долго канючил в передней, говоря, что он всего-то опоздал на пять

минут и что это очень жаль, что у него сорвался вечер. И она пообещала встретиться с ним завтра.

Вот наш инженер, находясь в расстройстве чувств, стал прощаться со своей подругой. И собрался уже уйти, как вдруг увидел в своих руках какую-то парусиновую штуку, какой-то замызганный, не его портфель.

В полной уверенности, что это он сейчас взял его по ошибке, он положил его на столик и стал искать свой портфель.

А в передней, под стулом, стоял чей-то портфель. И наш инженер, найдя его, до некоторой степени даже удивился и стал вспоминать, когда же это он успел засунуть свой портфель под стул.

Но так как его землячка снова начала спешно с ним прощаться и его выпроваживать, то он и не стал больше задумываться над этой материей, а, вытащив портфель из-под стула и решив, что он подарки сделает завтра, еще раз приложился к ручке своей знакомой и вышел с чужим имуществом. И она ему ничего не сказала, поскольку она, наверно, тоже не знала, что это портфель ее дяди. И вдобавок в передней царил полумрак.

И вот, выйдя на улицу, наш инженер побрел потихоньку домой, помахивая портфелем.

А надо сказать, что дома у него был уже полный переполох.

Счетчик, получив деньги и не найдя своей парусины, поднял тарарам и, думая, что это хозяйский мальчишка, играя с портфелем, затащил его куда-нибудь в комнату, стал везде искать и, разыскивая, перевернул всю квартиру кверху дном.

Жена тоже деятельно помогала искать государственные акты, но, найдя портфель мужа, удивилась, что он не взят. И из чисто женского любопытства заглянула туда — что там есть. И, найдя вещи, несколько странные для сверхурочных занятий, взволновалась и, уйдя в свою комнату, стала обдумывать, что бы все это значило.

Сынишка же инженера, десятилетний мальчик, увидев содержание портфеля, выгреб из него коробку конфет и, как говорится, отдал должное кондитерским изделиям.

Придя к мысли, что муж ей говорит неправду о сверхурочных занятиях, жена начала плакать. Но тут раздался телефонный звонок, и грубый мужской голос сказал, что если еще не пришел ее муж, то пусть она передаст ему, что там, где он сейчас был, он оставил свой портфель с какими-то дурацкими бумагами, а вместо него взял по ошибке чужой портфель. И пусть он, как придет, срочно его вернет, так как они садятся ужинать, а в портфеле остались кое-какие съестные припасы.

Жена сквозь слезы обещала, что передаст мужу, и, повесив трубку, начала рыдать, поняв отчасти, где ее муж бывает.

В общем, в доме был полный кавардак, когда на семейном горизонте вновь появился наш злосчастный супруг.

Счетчик из Электротока, который перевертывал теперь кухню кверху дном, набросился на вошедшего инженера, требуя моментально найти его портфель, в котором заключалось электрическое хозяйство всего района.

Не понимая еще, о чем идет речь, муж услышал рыдания своей супруги и поспешил к ней в комнату. И там вскоре разразилась буря, так что счетчик и не рискнул туда войти, а с видом великомученика сел в коридоре на стул и стал ждать, чем все это кончится.

Тут сынишка инженера, увидев новый портфель, поинтересовался, что еще принес папа. И хотя бабушка запрещала трогать этот портфель, тем не менее мальчик выгреб из него еще одну коробку конфет, маринованные пикули, паюсную икру и бычки в томате.

Мальчик, не чувствуя больше аппетита к конфетам, отнес их в буфет. А бабушка, будучи не в курсе дела и полагая, что продукты принесены для дома, поставила пикули, икру и бычки за окно. Причем, пробуя икру, больше чем следует налегла на нее, так что за окно попало, собственно говоря, весьма незначительное количество.

Во время этих хозяйственных процедур и в момент наивысших криков в спальне снова раздался телефонный звонок. И муж сконфуженно начинает в трубку объяснять, что это просто ошибка и что портфель будет моментально доставлен.

И с этими словами инженер идет в коридор, находит там счетчика, извиняется перед ним, дает ему адрес и рубль на автобус и просит взять портфель, лежащий в передней, и обменять его на свой, случайно занесенный в другое место.

Счетчик, довольный, что портфель с государственными бумагами наконец найден, не стал слишком много распространяться и, только слегка поругавшись с рассеянным интеллигентом, отбыл, захватив для обмена портфель, опустошенный бабушкой и внуком.

Но едва в квартире наступила тишина и утомленные супруги прилегли после бури отдохнуть, как вдруг снова раздался телефонный звонок и грубый мужской голос сказал жене, что ее супруг, видимо, попросту арап, если из чужого портфеля он выгреб все, что там было. И что, если на то пошло, пусть он оставит себе бычки в томате, но икру и пикули пусть моментально вернет, иначе ему несдобровать. И что даже его знакомая просит ему передать, что он подлец.

Муж, чувствуя, что идет скандальный разговор, вырвал трубку от жены и стал кричать, что он ничего из портфеля не брал и даже его не открывал, и пусть все убираются к черту. А что за посланного человека он не отвечает, и если тот взял что-нибудь из портфеля, то пусть они и имеют с ним дело.

Тогда грубый мужской голос стал мягче и сказал, что посланный человек еще не ушел и что он вытряхнет из него душу, но икру и пикули вернет.

Наконец все смолкло. Муж и жена, объединенные общим военным фронтом, несколько даже примирились. И жена взяла с него торжественное обещание, что впредь таких историй не повторится.

Однако, примерно через час, в квартиру явился весьма бледный и в растерзанном виде счетчик и поднял невероятный скандал, требуя возврата каких-то продуктов. Но так как ни муж, ни жена об этих продуктах ничего не знали, а бабушка уже спала сном праведницы, то рассердившийся инженер велел счетчику моментально уйти. Счетчик сказал, что подобных злодеев он еще не видел в своей жизни и что на инженера и на того муж-

чину, который чуть не вытряхнул из него душу, он завтра же подает в народный суд. Тем более что мало того, что он потерял рабочий день,— он еще получил нервное и физическое потрясение и вдобавок до сих пор не получил своего портфеля с государственными документами, за который тот требует выкуп.

В общем, счетчик действительно подал в суд. И на суде распуталась вся цепь событий.

Публика невероятно веселилась, когда выступавшие свидетели объясняли, как это все было. Но смех достиг наивысшего напряжения, когда бабушка начала рассказывать, как она съела икру.

Народный судья, женщина, отметила в своем слове, что мещанский быт с его изменами, враньем и подобной чепухой еще держится в нашей жизни и что это приводит к печальным результатам. Так, например, пострадавший на своем посту счетчик является в некотором роде жертвой этого дела.

Обвиняемый мужчина, который, кстати сказать, оказался не дядя подруги инженера, а бывший жених, приехавший из Ростова, принес свои извинения счетчику. Инженер тоже горячо извинился.

Суд вынес инженеру общественное порицание, а дядю из Ростова за то, что он немного помял счетчика, справедливо приговорил к общественным работам на два месяца.

Публика этот приговор встретила с полным удовлетворением.

Что будет дальше — мы не можем вам сказать, но поскольку дяди не будет на горизонте два месяца, возможно, что произойдет примирение между инженером и его подругой. И тогда, может быть, снова возникнет какая-нибудь ерунда на семейном фронте.

1937

ШУМЕЛ КАМЫШ

Тут недавно померла одна старуха. Она придерживалась религии — говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение.

Приглашенный поп явился в назначенный час на квартиру, облачился в парчовую ризу и, как говорится, приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

Только вдруг родственники замечают, что батюшка несколько не в себе: он, видать, выпивши и немного качается.

Родственники начали шептаться: дескать, ах ты боже мой, какая неувязка, поп-то, глядите, не стройно держится на ногах. Тогда один из родственников, кажется, бывший камердинер и старейший специалист по части выпивки, подходит к батюшке и так ему тихо говорит:

— Некрасиво поступаете, святой отец. Зачем же вы с утра пораньше надрались... Вот теперь вы под мухой и этим снижаете религиозное настроение у родственников. Нуте, дыхните на меня.

Прикрыв рот рукой, батюшка говорит:

— Не знаю, как вы, а я в своем натуральном виде. А только я сегодня с утра не жравши, и, может быть, через это меня немножко кренит. Нет ли, вообще говоря, у вас тут чем-нибудь заправиться?

Батюшку повели на кухню. Поджарили яичницу и дали ему рюмку коньяку, чтоб перебить настроение.

Подзаправившись, батюшка снова приступил к работе. Но качка у него продолжалась не в меньшей степени.

Но поскольку он уравновешивал эту качку помахиванием кадила, то все сходило более или менее удовлетворительно. Хотя религиозное настроение у родственников было окончательно сорвано, тем более своим кадилом батюшка задевал то одного, то другого родственника и тем самым вызывал среди них ропот и полное неудовольствие.

Наконец усопшую понесли по лестнице, чтоб, как говорится, водрузить ее печальные останки на колесницу.

Батя, как ему полагалось, шел впереди.

Вдруг родственники не без ужаса слышат, что вместо «со святыми упокой» батюшка затянул что-то несообразное.

И вдруг все замечают, что он поет песню:

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь сидела до утра...

Родственники остолбенели, когда услышали эти слова.

Один из родственников, бывший камердинер, подходит к священнику и так ему говорит:

— Ну, знаете, это слишком — арии петь. Мы вас пригласили, чтобы вы нам спели что-нибудь подходящее к захоронению усопшей, а вы пустились на такое паскудство. Ну-ка, без всяких отговорок, дыхните на меня.

Дыхнув на камердинера, поп говорит:

— Когда я выпивши, я почему-то завсегда сворачиваю на эту песню. Усопшей это безразлично, а что касается родственников, то мне решительно на них наплевать.

Бывший камердинер говорит:

— Конечно, в другое время мы бы вас выслушали с интересом, поскольку песня действительно хороша, и я даже согласен записать ее слова, но в настоящий момент с вашей стороны просто недопустимое нахальство — это петь.

Тут среди родственников начались крики. Раздались возгласы:

— Позовите милиционера!

Во дворе собралась публика. Дворник, подойдя к воротам, дал тревожный свисток.

Вот приходит милиционер. Родственники говорят ему:

— Вот поглядите, какого попа мы пригласили. Что вы нам на это скажете?

Милиционер говорит:

— Все-таки этот служитель культа еще владеет собой. Вот если б он у вас падал, то я бы отвел его в отделение милиции. Но он у вас еще держится и только не то поет. А что он там у вас поет — милиции это не касается. Пущай он хоть

на голове ходит и «чижика» поет — милиции это совершенно безразлично.

Родственники говорят:

— Что же нам в таком случае делать?

Батюшка говорит:

— Что вы, ей-богу, скандал устраиваете. Может быть, осталось пройти сорок шагов, и как-нибудь с божьей помощью я дойду.

Бывший камердинер говорит:

— Идите. Но если вы опять начнете не то петь, то я вам непременно чем-нибудь глотку заткну.

Вот процессия двинулась дальше. И батюшка владел собой хорошо. Но когда гроб устанавливали на колесницу, батюшка снова тихо запел:

Ах, не одна трава помята,
Помята девичья краса...

Тут камердинер, совсем озверев, хотел кинуться на богослужителя, но родственники удержали, а то получилось бы вовсе безобразие и вовсе исказило бы церковную идею захоронения усопших.

В общем, батюшка, рассердившись на всех, ушел. И колесница благополучно тронулась в путь.

Эту историю мы рассказали вам без единого слова выдумки. В чем и подписуемся.

1937

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Прежде чем рассказать вам эту забавную историю, придется нам с вами перенестись сначала чуть не в прошлое столетие.

Вот какое событие произошло двадцать три года назад в городе Виннице.

Город Винница — небольшой цветущий городок. Там, говорят, много садов. Прелестные маленькие домики. И славная быстротечная река.

Этот городок еще тем отличается от других, что он расположен недалеко от знаменитой станции Жмеринка, где, как известно, скрещиваются многие пути и происходят пересадки.

И вот в этом небольшом славном городке жил двадцать три года назад сын одного довольно богатого коммерсанта.

Он там в свое время окончил реальное училище. И был потом инженером. Но после смерти своего папы он не пожелал пойти по научной или там технической линии, а стал продолжать дело своего родителя, который являлся поставщиком многих винных фирм.

И вот у сына этого коммерсанта дела тоже пошли весьма недурно. Настроение у него было прекрасное. Вскоре он там построил красивый двухэтажный дом в английском вкусе. И через некоторое время женился.

Он там женился на одной местной девушке, недавно окончившей среднее образование.

Это была некая девушка Муза — смуглая красавица с круглыми щечками и с блестящими, как звездочки, глазами.

Кажется, как будто мама у нее была румынка. И, может быть, поэтому она отличалась такой южной красотой.

Ах, он исключительно ее полюбил.

Он обставил ее комнату стильной мебелью. Затянул стены шелковой материей. Вместо дверей навесил турецкие бусы. Подарил ей двух маленьких попугаев. Привез ей откуда-то всяких шелковых тканей, ковров и ковриков. И теперь ее жилище было похоже на шатер в восточном вкусе.

И молодая женщина была довольна, но не совсем.

Она не слишком любила своего мужа. И, может быть, отчасти пошла за него замуж по расчету. Она мечтала встретить какого-нибудь стройного и гибкого мужчину, а муж был немного толстоватый и слегка, как бы сказать, косопузый. И вдобавок ноги у него не были пропорциональны всему остальному. И, уж во всяком случае, со своей наружностью муж не являлся героем ее романа.

Он понимал это, как говорится, соотношение сил. Баловал ее. Носил на руках. И не очень-то любил уезжать в свои деловые командировки, боясь подолгу оставлять молодую женщину без внимания и надзора.

Он хотел, чтобы она все время занималась материнством и чтобы она кормила его детей. Он этим хотел сохранить ее для себя.

Но она, родив ему девочку, не могла почему-то продолжать в том же духе. И муж, благодаря этому, еще более страшился, что она влюбится в кого-нибудь во время его отъезда.

А она, конечно, оставаясь одна, скучала, и в ее южном сердечке зарождалось желание кого-нибудь полюбить и кому-нибудь составить небывалое счастье.

И вот однажды она встретила одного своего знакомого. Она давно его знала. Они были знакомы, когда он еще был реалистом и на спине носил школьный ранец.

Но сейчас он был студент и кончал институт. И он на каникулы прибыл к своей матери в город Винницу.

Теперь это не был маленький и прыщеватый мальчишка. Теперь это был красивый студентик, сильный и стройный,— Саша Ф.

Он не без шика одевался, носил накладные орлы на пуговицах и брюки со штрипками. И ходил со стеком, веселый и остроумный, способный поразить своей внешностью не только простенькую девушку из провинции.

Он встретился с ней на одной вечеринке, и у них почти сразу возникло чувство.

Он стал назначать ей свидания, писал ей пылкие записочки и стоял часами под ее окнами.

Они стали встречаться. И муж вскоре констатировал, что то, чего он боялся,— случилось.

Муж не велел принимать Сашу Ф. Он отказал ему от дома и даже пригрозил его убить, если тот не перестанет смущать покой его юной жены.

Но угрозы не устрашили влюбленного юношу. Он по-прежнему украдкой встречался с молодой женщиной. Он вскружил ей голову, и она, имевшая пятилетнюю дочку, впервые поняла, что такое любовь.

Она просто потеряла рассудок, и день, проведенный без него, считала потерянным.

Она бесстрашно стала приходить к нему и

оставалась у него часами, мечтая с ним о новой жизни.

Но он был беден и не закончил еще учебы. Он приводил ей резонные доводы о невозможности значительных перемен.

В довершение всего его мать, пожилая согбенная дама, позабывшая, что такое юность, весьма неблагосклонно отнеслась к ее посещениям. И не скрывала своей досады, когда влюбленная женщина приходила к ее сыну.

Она боялась, что эта любовь кончится драмой или трагедией.

Препятствия не прекратили их пылкую любовь.

Муза предложила ему бывать у нее в доме, говоря, что муж постоянно находится в разъездах.

Он не считал это удобным и долгое время отказывался, но однажды все же пришел к ней, волнуясь за свое безрассудство.

Она успокоила его, сказав, что муж в Харькове.

Он пришел к ней, как они условились, утром. И, ах, это утро осталось у него в памяти на всю жизнь.

Это было летнее утро. Окно было раскрыто. Сад благоухал цветами. Солнце сверкало в зеркалах и в хрустальных безделушках, украшавших ее комнату. Муза приняла его в каком-то небесном шелковом платье, юная и прелестная,— смуглая красавица, полюбившая его без памяти.

Он прямо с ума сошел от счастья, когда заключил ее в свои объятия.

И она как сумасшедшая обняла его. И они пять часов подряд целовались. И даже она чуть не потеряла сознание, так это было для нее ново и удивительно.

Уже ее мать, старая румынка, дважды поднималась наверх и, тихонько постучав в стену, упрашивала их разойтись, но они не имели сил расстаться.

Наконец они стали прощаться.

Дружески обнявшись, они ходили по комнате, говоря о своем светлом будущем.

Она вдруг шутя спросила его, что бы он стал делать, если б сейчас приехал ее муж.

Он, смеясь, показал на свой расстегнутый ворот, на галстук и воротничок, брошенные на стул. Он сказал, что он не трус, но он, конечно, не хотел бы ее компрометировать. И, поглядев в окно, выходящее в сад, сказал, что он отличный гимнаст и ему не составило бы труда спуститься в сад по этим деревьям.

Она похвалила его за благоразумие, хотя видно было, что ей хотелось бы услышать иное, более героическое, более смелое и мужественное.

Так, гуляя по комнате, он вдруг увидел распечатанную телеграмму, лежащую на столике. Телеграмма была от мужа — он извещал ее, что приедет в среду, и посылал ей тысячу нежных поцелуев и свою страстную, до гроба любовь.

— Как он вас любит,— ревнуя, сказал Саша, с досадой бросая телеграмму. Но тотчас ее поднял и, вновь прочитав, не без тревоги сказал:— Но ведь сегодня среда. Значит, он приедет сегодня.

Муза подтвердила это. Она сказала, что харьковский поезд приходит вечером, так что не следует беспокоиться.

Он назвал ее безрассудной. Он сказал, что муж каждую минуту может приехать на машине или же каким-нибудь иным поездом.

И он стал с ней прощаться. Но снова им было жаль расстаться. И они снова, к ужасу старой румынки, принялись за свои поцелуи.

Вдруг они услышали внизу звонок и шум. И звонкий голосок ее пятилетней дочки пронзительно закричал: «Папа приехал!»

Муза страшно побледнела. Она, заламывая руки, сказала:

— Боже мой. Это приехал Илья... Он убьет тебя...

Саша Ф., поцеловав ее трепетную руку, в одну секунду вскочил на подоконник и, притянув к окну ветку дерева, ловко, как обезьяна, повис на ней.

Муза ахнула, всплеснув руками.

Студент гибким движением молодого тела подался вперед и, хватаясь руками за ветки, благополучно спустился в сад.

Внизу он помахал рукой молодой женщине, неподвижно стоявшей у окна, и скрылся в зарослях малины.

Пробравшись сквозь малину к забору, он стал приводить себя в порядок и вдруг с ужасом увидел, что воротничок, галстук, фуражка и стек остались наверху в ее комнате.

Лоб его покрылся холодным потом, когда он подумал, что муж сейчас увидит эти вещи, небрежно брошенные на стул.

Страшно мучаясь и досадуя на свою неосторожность, он снова через малину пробрался к дому. Он хотел ей крикнуть, предупредить, чтоб она спрятала все это или, если можно, бросила бы ему вниз, но тут, всматриваясь в ее окно, он увидел, что в комнате уже были люди — ее мать, нянька с дочкой, муж и еще кто-то.

Саша снова бросился назад и, страшась услышать сейчас крики драмы, перескочил через забор и направился к своему дому.

И, дойдя до своей улицы, он захотел было вернуться туда, где сейчас, вероятно, разыгрывается трагедия, но у него не хватило духу сделать это.

Ему показалось, что его возвращение было бы смешным и глупым. И он стал успокаивать себя, говоря себе, что Муза, вероятно, в последний момент успела сунуть в шкаф его оставленные вещи.

Он пришел домой бледный и растерянный, и его старая мамаша стала выпытывать, что с ним. Но он, не желая посвящать ее в свои тайны, сказал, что его срочно вызывают в институт. И вот почему он так огорчен, взволнован и потрясен.

Это случайное вранье определило его шаги. Саша сложил вдруг чемодан и, попрощавшись с матерью, в тот же день уехал в Москву.

Ему оставалось жить в Виннице всего две недели. Ну что ж, он несколько раньше вернется в столицу и несколько раньше приступит к занятиям. Нет, он не трус, но фигурировать в качестве застигнутого любовника ему не хотелось бы.

Конечно, он страшился за судьбу молодой женщины, но тут же утешал себя тем, что любовь мужа столь велика и грандиозна, что ей все простится и все забудется.

Перед отъездом он написал ей нежное и ми-

лое письмецо и вложил его в конверт вместе с засушенной настурцией. Но не отправил его, боясь, что письмо попадет в руки разгневанного мужа.

Однако, приехав в Москву, Саша очень там страдал и волновался и вскоре послал одному своему другу письмо в Винницу. Он попросил приятеля разузнать, что с Музой, и передать ей пламенный привет, его адрес и нежную просьбу написать ему хотя бы несколько слов.

Но друг почему-то не ответил. И от Музы не было никаких сообщений.

Потом он случайно узнал от одного приехавшего из Винницы, что в доме Музы как будто все благополучно, развода нет и муж, по-видимому, по-прежнему безмерно любит ее и обожает.

Это сообщение успокоило Сашу. Но вместе с тем он снова ощутил пылкую любовь к молодой оставленной даме. Он поставил ее карточку на видное место и подолгу любовался милыми чертами своей смуглой черноокой красавицы.

Между тем начались занятия. Последний год в институте — это было не шуточное дело. И Саша с головой ушел в свою учебу.

Он хотел было на рождественские каникулы приехать в Винницу, но случайно сошелся с одной курсисткой, и эта связь задержала его в Москве.

Весною он заболел, переутомленный экзаменами, и его отправили на кумыс. А летом мамаша его приехала в Москву на операцию и тут, как говорится, под ножом хирурга скончалась.

Саша осенью хотел побывать в Виннице, но тут началась германская война, и молодого инженера взяли в армию в саперные войска.

Я не сумею вам сказать, как это случилось, но Саша Ф., страдая и любя, не смог в ближайшие три года встретиться со своей красавицей Музой.

Только в начале революции он наконец приехал в Винницу.

Со страшным волнением он вернулся в свой родной город. И в тот же день он с отчаянием в сердце узнал, что Муза с ребенком и мужем только что недавно уехала в Киев, бросив свой дом и свои дела на произвол судьбы.

Это было понятно — революция, вероятно, не пощадила бы разбогатевшего дельца. И вот он поспешил уйти от народного гнева.

Тотчас вслед за ними Саша отправился в Киев, но там узнал, что они выехали как будто в Одессу, но, может быть, и в Ростов.

Саша хотел было поехать в Одессу, но узнал, что пути к Одессе отрезаны фронтом гражданской войны.

Тут молодой человек понял, что он потерял их следы. И, может быть, никогда больше ее не увидит. И он так заплакал, как будто ему было шесть лет. И, бессчетно раз целуя ее карточку, он дал себе слово до конца своих дней любить свою милую Музу.

Он вернулся в Москву. И стал там жить.

И вот давно уже отгремели выстрелы гражданской войны, новая жизнь победно шествовала по городам и селам.

Саша Ф. был инженером. И он служил в Москве. Он давно женился, и у него теперь было двое славных детишек, и он в скором времени ожидал еще третьего младенца.

Но в сердечных делах он остался верен своему чувству.

Ее карточка, как святыня, стояла на его письменном столе, и он, вспоминая дни своей юности, подолгу любовался милым обликом и, печально вздыхая, восклицал: «Ах, счастье с этой женщиной мне было так возможно».

Всю силу своего чувства он перенес в свою работу. Он стал весьма крупным, выдающимся инженером. И год назад он получил в приказе благодарность за полезную деятельность.

В прошлом году, летом, он немного заболел и решил полечиться. Его сорокалетнее сердце стало пошаливать — начались разные боли, спазмы и так далее.

Его премировали двухмесячной путевкой в Кисловодск, и в августе он уехал туда с намерением заняться лечебными процедурами.

Кисловодск в этом смысле чудный курорт. Там нарзан делает чудеса — обновляет кровь и восстанавливает слабые нервы.

Два месяца подряд Саша принимал нарзанные ванны и ходил в горы, укрепляя этим свое уставшее сердце.

Он великолепно поправился и чувствовал себя молодым, способным на безрассудство. Но он там никого не встретил, кем бы мог увлечься. И теперь не без охоты покидал курорт.

В день отъезда он пошел в парк прощаться с любимыми местами. Он пришел в нарзанную галерею. Ему там подали стакан нарзана. И он стал с чувством его пить, поглядывая на гуляющую публику.

Вдруг рука у него дрогнула. Пальцы невольно разжались, и стакан с треском разбился, упав на каменный пол.

Перед ним в двух шагах стояла Муза Н. со своим мужем.

Она стояла около источника и тоже пила нарзан.

Сердце замерло у Саши, когда он еще раз взглянул на нее. Она была, пожалуй, по-прежнему красива и эффектна, но она очень пополнела.

Ах, где же эта тоненькая смуглая красавица! Слишком полный ее стан, двойной подбородок и более крупные формы придавали теперь Музе солидный, стареющий и немного обрюзгший вид. И только милые ее глаза, блестящие и яркие, как звездочки, сияли по-прежнему, так же, пожалуй, молодо и оригинально.

Она взглянула на человека, уронившего стакан. И у нее в то же мгновенье замерло сердце. И бывает же такое совпадение чувств — рука у нее тоже дрогнула, пальцы разжались, и стакан, упав на каменный пол, вдребезги разбился.

Рядом стоящий муж, стареющий и весьма полный кособокий человек с инженерским значком на лацкане пиджака, с недоумением посмотрел, что случилось.

И вдруг, всплеснув руками, он воскликнул:

— Боже мой, Муза! Да ведь это Александр Семенович — наш дорогой друг из Винницы.

Саша Ф. подошел к ним, и они стали пожимать друг другу руки, расспрашивая, волнуясь и смеясь от нахлынувших воспоминаний двадцатилетней давности.

— Александр Семенович,— сказал муж,—

куда же вы, голубчик, тогда бесследно исчезли?.. Ну, правда, я вас немного ревновал, но мы с Музой очень огорчались вашему отъезду.

Муза, улыбаясь, сказала:

— В самом деле, Саша, куда же вы тогда делись?

Александр Семенович стоял растерянный, не зная, что сказать и что подумать.

Муж продолжал, улыбаясь:

— Да, я помню, много вы хлопот доставили нам своим неожиданным отъездом. Помню, Муза три месяца меня пилила, зачем я так резко отказал вам от дома... Поверите ли, дело прошлое, но Муза плакала, и мы с ней заходили к вашей маме — расспрашивали ее о вас... Что с вами тогда стряслось?

Муза, улыбаясь, сказала:

— Это было правда нехорошо, Саша, что вы, не попрощавшись, уехали... Хоть бы написали письмо.

Саша растерянно бормотал:

— Боже мой... Как же так... Я писал... я не знаю... я думал, что...

Муж, громко смеясь, сказал:

— Да, черт возьми, я ревновал вас. Но теперь, Александр Семенович, я бы вам и сам сказал: поухаживайте, милый друг, за моей женкой.

Они втроем стали смеяться, иронизируя над своей полнотой, седеющими волосами и поблекшими чувствами.

Вдруг муж сказал:

— Друзья, постойте минутку — пришли центральные газеты, и я боюсь прозевать...

Они остались вдвоем.

Она сказала, улыбнувшись:

— Да, Саша, это было нехорошо с вашей стороны...

Саша, волнуясь и не понимая, сказал:

— Но ведь я думал, что муж все узнал... Я не хотел вам доставлять лишних страданий... Поверьте, я вас так любил...

Она вдруг сердечно и от души рассмеялась. Она так засмеялась, что он не знал, что подумать.

— Что вы смеетесь?— грубо спросил он.

Она сквозь смех еле могла сказать:

— Слушайте... Ведь тогда... помните... ну, в тот день, когда вы были у меня... Ведь это был не муж...

— Как не муж?— спросил Саша, ужасаясь.

— Ну да,— сказала она, смеясь,— это была телеграмма. Муж прислал мне телеграмму, что он задержался.

— Но ваша дочка...

— Девочка ошиблась... Она на каждый звонок кричала: папа приехал... Я как сумасшедшая кричала вам из окна, чтоб вы вернулись... Но вы... соскочили со своего дерева... и сразу исчезли...

Она, сдерживаясь и кусая губы, смеялась. Ее подбородок дрожал, и плечи тряслись от хохота.

— Но как же так?— бормотал он.— Я думал... фуражка, воротничок, которые я оставил...

Она, было перестав смеяться, снова захохотала так, что он подумал, что с ней истерика. Она сквозь смех еле могла сказать:

— Как же вы, Саша уехали в Москву-то... без фуражки? Вы бы хоть зашли за фуражкой...

Он, сам не зная, что говорит, сказал:

— А куда же вы дели мой воротничок и фуражку?

— Ну, не помню, голубчик,— сказала она,— кажется, спрятала и сохранила на память.

Он хотел выдавить на своем лице улыбку, но не мог и стоял смертельно бледный, дрожа от волнения.

Она вдруг, увидев его в таком состоянии, перестала смеяться. Она сказала:

— Простите, Саша, что я так смеюсь... Я вас очень любила...

Он взял ее руку и стал целовать, бормоча:

— Боже мой... Ну как же так?.. Какая комедия жизни... Я вас тоже любил. И так ждал...

Тень прошла по ее лицу, и губы ее дрогнули, но она, отдернув руку, сказала:

— Муж идет, после поговорим...

Муж подошел к ним, на ходу разворачивая газету.

Саша, взглянув на часы, пробормотал:

— Ого, уже три. Ведь через сорок минут отходит мой поезд...

Они стали жалеть, что он уезжает. Они хотели, чтоб он зашел к ним — сыграть в преферанс. Как, право, жаль, что они встретились только сегодня.

Саша поспешно стал прощаться с ними и, бледный и растерянный, пошел в свой санаторий.

Через полчаса он, по-прежнему взволнованный и потрясенный, сидел в вагоне.

И когда поезд тронулся, Саша распаковал чемодан, нашел карточку Музы. Он долго всматривался в дорогие черты и бормотал:

— Ну как же так?.. Ну как же это могло случиться?..

Вдруг он снова ощутил в своем сердце любовь, но не к этой прежней тоненькой красавице, а к той женщине, которую он сейчас оставил в нарзанной галерее.

Ее смех смутил его. А то он сказал бы ей больше о своем чувстве, о том, что все эти годы он помнил и любил ее.

Он вдруг подумал, что он сейчас может сойти на станции и вернуться в Кисловодск.

В это время поезд остановился в Ессентуках. Саша стал судорожно упаковывать свои вещи, чтоб сойти тут. Но поезд вскоре тронулся, и Саша остался. Он подошел к открытому окну, бормоча:

— Как глупо все, ах, как все глупо...

Потом вдруг сердце у него упало, когда он подумал, что ведь он даже и не знает, где и в каком городе они живут. В своем волнении, в своем поспешном прощании он даже не спросил ее об этом.

И тут он снова, как и когда-то в Киеве, понял, что он потерял ее. И теперь уж, наверно, навсегда.

Слезы показались на его глазах. Он снова метнулся к своим чемоданам, чтобы выйти в Пятигорске. И, подойдя к окну, сказал:

— Как глупо все... Какая комедия жизни... Вот она, старость и увядание...

В Минеральных Водах он опять хотел было вернуться в Кисловодск, но носильщик, схватив его вещи, сказал:

— Поспешайте, гражданин. Московский поезд сейчас отходит.

И он покорно последовал за носильщиком.

Но в поезде он успокоился, сказав себе, что он напечатает объявление в центральной газете

с просьбой к Музе отозваться и написать ему.

Эту историю Александр Семенович Ф. рассказал мне в сентябре тридцать шестого года. Сейчас начало нового года, но этого объявления я в газетах так и не видел.

1937

СЕРДЦА ТРЕХ

Позвольте рассказать о нижеследующем забавном факте.

Один ленинградский инженер очень любил свою жену. То есть, вообще говоря, он относился к ней довольно равнодушно, но, когда она его бросила, он почувствовал к ней пылкую любовь. Это иной раз бывает у мужчин.

Она же не очень его любила. И, находясь в этом году на одном из южных курортов черноморского побережья, устроила там весьма легкомысленный роман с одним художником.

Муж, случайно узнав об этом, пришел в негодование. И когда она вернулась домой, он, вместо того чтобы расстаться с ней или примириться, стал терзать ее сценами ревности и изо дня в день оскорблял ее грубыми и колкими замечаниями о курортных знакомствах и так далее.

Она нигде не служила, тем не менее она решила от него уйти.

И в один прекрасный день, когда муж ушел на работу, она, не желая объяснений и драм, взяла чемодан со своим гардеробом и ушла к своей подруге, чтобы у нее временно пожить до приискания службы и комнаты.

И в тот же день она повидалась со своим художником и рассказала ему, что с ней.

Но мастер кисти и резца, узнав, что она ушла от мужа, встретил ее крайне холодно, если не сказать больше. И даже имел нахальство заявить, что на юге бывают одни чувства, а на севере другие и что на курорте в пять раз все бывает интересней, чем при нормальной обстановке.

Они не поссорились, но попрощались в высшей степени холодно.

Между тем муж, узнав, что она ушла из дому с чемоданом, пришел в огорчение. Только теперь он понял, как пламенно ее любит.

Он обегал всех ее родных и заходил во все дома, где она, по его мнению, могла находиться, но нигде ее не нашел.

Его бурное отчаяние сменилось меланхолией, и он даже хотел повеситься, о чем и заявил в частной беседе ответственному съемщику по своей квартире.

Председатель жакта, озабоченный судьбой этого квартиранта, поспешил навестить его, чтобы предостеречь от пагубного шага.

Он так сказал ему:

— В соревновании на лучшее, образцовое жилище наш дом выходит на первое место в районе. И нам было бы крайне досадно, если бы вы со своей стороны что-нибудь сейчас допустили. И если у вас есть хоть какая-нибудь общественная жилка, то вы уж как-нибудь обойдитесь без этого.

Видя, что гражданский призыв ни с какой стороны не тронул инженера, председатель так ему сказал:

— Вы живете, замкнувшись в своем душном мире, и через это ваши страдания очень велики. Вас перевоспитывать — так это надо запастись терпением. Если хотите, я в дальнейшем займусь с вами. Но пока я вам дам хороший совет: напечатайте объявление в газете: дескать (как в таких случаях пишется), люблю и помню, вернись, я твой, ты моя и так далее. Она это прочтет и непременно явится, поскольку сердце женщины не может устоять против печати.

Этот совет нашел живейший отклик в измученной душе инженера, и он действительно среди отрезов драпа и велосипедов поместил свое объявление: «Маруся, вернись, я все прощу».

К этой классической фразе он еще добавил несколько вольных строк о своих страданиях, но эти строчки вымарали ему в конторе, поскольку уж очень, знаете ли, получалось как-то сугубо жалостливо и вносило дисгармонию в общий стиль объявлений.

За это объявление инженер заплатил тридцать пять рублей. Но когда он заплатил деньги, он обратил внимание на дату и пришел в ужас, узнав, что его объявление появится только через пятнадцать дней.

Он стал горячиться и объяснять, что он не велосипед продает и что он не может так долго ждать. И они из уважения к его горю сбавили ему четыре дня, назначив объявление на первое августа.

Между тем на другой день после сдачи объявления его жена явилась в жакт, чтобы выписаться. И там он имел счастье с ней увидеться и объясниться.

Он так ей сказал в присутствии домоуправления:

— Семь лет я крепился и ни за что не хотел прописывать вашу преподобную мамашу в нашей проходной комнате, но, если теперь вы вернетесь, я ее, пожалуй, так и быть — пропишу.

Она дала согласие вернуться, но хотела, чтобы он прописал также ее брата. Но он уперся на своем и согласился принять на свою площадь только ее мамашу, которая буквально через несколько часов туда и переехала.

Два или три дня у них шло все очень хорошо. Но потом жена имела неосторожность встретиться со своим портретистом.

Тот, узнав, что она вернулась к мужу, проявил к ней исключительную нежность и отзывчивость. И сказал ей, что его чувства снова вспыхнули, как на юге, и что он теперь опять будет мучиться и страдать, что она все время находится с мужем, а не с ним.

Весь вечер они провели вместе и были очень счастливы и довольны.

Муж, беспокоясь, что ее так долго нет, вышел к воротам поторопить события. И тут, у ворот, он впервые увидел живописца, который под руку вел его жену.

Тут снова у них начались семейные драмы, еще более тяжелые и шумные, чем раньше, поскольку ее мама, даром что ей было шестьдесят пять лет, принимала теперь в них самое деятельное участие.

Тогда молодая женщина снова ушла от мужа и, находясь под впечатлением пылких слов художника, явилась к нему, чтобы у него, если он хочет, остаться.

Но портретист не проявил к этому горячего желания, сказав, что он человек непостоянный, что сегодня ему кажется одно, завтра — другое и что одно дело — любовь, а другое дело — брак и что он хотел бы не менее полгода обдумать этот шаг, прежде чем на что-нибудь определенное решиться.

Тогда она поссорилась с художником и осталась жить у подруги, которая вскоре и устроила ее на службу в психиатрической лечебнице.

Между тем ее муж, погоревав несколько дней, неожиданно утешился, случайно встретив подругу своего детства.

У них и раньше что-то намечалось, но теперь, находясь в одиночестве, он почувствовал к ней большую склонность и предложил ей поселиться у него.

И она была этому рада, поскольку она только недавно прибыла из Ростова и еще, как говорится, тут не осмотрелась в смысле помещения.

В общем, ровно через одиннадцать дней вышло злосчастное объявление.

Сам муж, позабыв о нем, не принял во внимание этот день. Но его жена, томясь у подруги, как раз наткнулась на этот призыв и была очень поражена и обрадована.

«Все-таки, подумала она, он меня исключительно любит. В каждой его строчке я вижу его невыразимое страдание. И я вернусь к нему, поскольку художник большой нахал, и я сама виновата, что так легкомысленно отнеслась к курортному знакомству».

Не будем нервировать читателей дальнейшим описанием. Скажем только, что появление жены с газетой в руках было равносильно разорвавшейся бомбе.

Муж, лепеча и перебегая от одной женщины к другой, не мог дать сколько-нибудь удовлетворительных объяснений.

Жена с презрением сказала, что, если бы не это объявление, она и не переступила бы порога этого мещанского жилища. Подруга из Ростова, заплакав, сказала, что она вовсе не желает склеивать его разбитое сердце своим присутствием и что если он дал такое исключительно сильное объявление с публичным описанием своих чувств, то он, во всяком случае, должен был бы подождать какого-нибудь результата.

В общем, обе женщины, дружески обнявшись, ушли от инженера, с тем чтобы к нему не возвращаться.

Председатель жакта, узнав от инженера о новой тревоге в доме, так ему сказал:

— Всем хорош наш дом. И вышел на первое место. И ремонт своевременно произведен. И среди жильцов полное единодушие по всем основным вопросам. И только вы вносите чепуху и бестолочь в мирное течение нашей жизни. Идите домой и поступайте теперь как хотите. Вас перевоспитывать — так это надо сначала с ума сойти.

Оставшись в квартире вместе с ее мамашей, инженер впал в бурное отчаяние, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы вечером не вернулась к нему его подруга из Ростова. Тем самым она показала, что ее сердце не столь ожесточилось, как у жены.

Правда, на другой день к нему хотела вернуться также и жена, но, узнав от своей мамаши, что землячка из Ростова опередила ее, осталась у подруги.

Она вскоре втянулась в работу в своей психиатрической лечебнице и недавно вышла замуж за тамошнего психиатра. И сейчас она очень довольна и счастлива.

Художник, узнав о ее счастье, горячо поздравлял ее с новой жизнью и, нежно вздыхая, попросил разрешения почаще у нее бывать.

В общем, сердца трех после столь сильных передряг вполне утихомирились.

Четвертое же сердце — художника,— надо полагать, вовсе не участвовало во всей нашей правдивой истории о печальных последствиях курортных романов.

Что касается объявлений, то медлительность этого дела то есть никак не отвечает требованиям жизни. Тут надо по крайней мере в шесть раз скорее.

1937

ТИШИНА

1

Лет, может быть, семь или восемь назад я жил в Ялте, в маленьком частном пансионе на Садовой улице.

В то время наряду с государственными домами отдыха и санаториями в Крыму процветали крошечные частные пансиончики на десять-двенадцать персон.

В этих пансиончиках приезжим предлагали особый семейный уют, дворянскую обстановку, домашние обеды и избранное общество людей, попавших сюда по рекомендации.

Наш пансиончик, имевший название «Тишина», содержали две старушки, две бывшие светские барышни.

Кое-как выбравшись из-под обломков рухнувшей империи, эти старушки сохранили все же свой внешний лоск, французскую речь, золотые лорнетки и жеманные, немного комические манеры.

И, пройдя сквозь революцию, они сумели сохранить свой собственный домик в Ялте, солидную обстановку и кое-какое серебро, которое теперь торжественно подавалось к столу пансионерам.

Это были две барыни, две, так сказать, полномочные представительницы старого, погибшего мира, старой, дореволюционной России.

Одна старушка, более престарелая, безучастно относилась к своему пансиону. Она целые дни проводила в саду, сидя в полузакрытой плетеной кабинке, защищавшей ее от ветра и солнца. Она целые дни неподвижно сидела с книгой на коленях, устремив куда-то свой туманный взор.

Это была подлинная картина «Все в прошлом».

Другая старушка, напротив того, отличалась неукротимой энергией и смелостью духа. Она одна «заворачивала» всем пансионом, смотрела за хозяйством, производила расчеты и поддерживала порядок. Она выходила к столу, как хозяйка дома выходит к своим гостям, а не как владелица пансиона, которой платят деньги.

Всякий разговор о деньгах она считала неприличным, и, когда ей платили, она жеманилась и конфузилась, говоря: «Ну зачем это... Можно ведь потом». Впрочем, это ей не помешало однажды дойти до скандала с визгом, когда одна из пансионерок не смогла ей вовремя заплатить. Такая жеманность была попросту ее манерой, дворянской маской и некоторой, может быть, иллюзией, которая теплилась в ее сердце.

Она важно восседала в конце стола и в беседе с пансионерами старалась поддерживать приличный светский тон. И она положительно расцветала, если кто-нибудь из пансионеров, благодаря ее за обед, сдуру прикладывался к ее ручке. Такого пансионера она начинала пламенно любить и в ответ на его поцелуй нежно прикладывалась губами к его лбу, как это требовалось в высшем дворянском обществе.

2

Уже в первый день моего приезда мне рассказали биографию этих двух старых подруг, владелиц нашего пансиона.

За их плечами была шумная и беспечная жизнь, заграничные поездки, балы, вечера, праздничное веселье, богатые мужья и сумасшедшие поклонники.

Более престарелая старуха была в дни своей юности оперной певицей. И тогда она отличалась какой-то неслыханной ангельской красотой. Ее мужья дарили ей дома, драгоценности и деньги, которых у нее до революции было больше чем двести тысяч.

Ей было что вспомнить, и она, видимо, устремляла свой туманный взор к этому далекому прошлому.

Другая наша старуха — энергичная хозяйка пансиона — была женой гвардейского офицера, крупного помещика и богача.

Мужья наших двух дам успели умереть до революции, и обе женщины, почувствовав приближение старости, решили провести конец своей жизни в тишине и в покое в том месте, о котором у них сохранились лучшие воспоминания.

Этим местом оказалась Ялта, куда в свое время их возили мужья и любовники и где они видели счастье и волнение юности. И вот они на склоне своих дней снова сюда прибыли незадолго до революции. Они тут купили приличный домик с тенистым садом. И назвали это свое новое имение — вилла «Тишина».

Такое умиротворяющее название соответствовало их намерениям. Они решили тут мило, тихо и спокойно провести остаток жизни. Это, по их мысли, была тихая пристань после бурных путешествий по волнам жизни.

Но жизнь решила иначе. Война, революция, бегство белых и наступление большевиков — вот что они получили вместо тишины и покоя.

Старухи в двадцатом году хлебнули страха и сами были не рады, что выбрали такое место, где произошла развязка и где дворянская и купеческая Россия нашла себе на короткое время последнее пристанище.

Их славная Ялта, жемчужина Крыма, веселый и праздный город, в котором любили отдыхать богатые фабриканты и царский двор, помещики и красавицы, теперь увидел новые картины. Это были последние ворота, в которые ушел старый мир.

Старухи тоже хотели было бежать. Они рассчитывали сесть на пароход, чтобы ехать в Турцию. Но они замешкались. У них было очень много вещей. Им было жалко их бросить. Они два дня паковали корзины и сундуки. И день затратили на то, чтобы люди перенесли их багаж на пристань.

И они, дрожащие, сидели уже на молу на своих корзинах. Но им сказали, что желающие уехать могут взять только лишь ручной багаж.

Они дождались, когда ушел последний пароход, увозивший дворян и коммерсантов за границу, и снова вернулись со своими вещами домой, в свою виллу «Тишина».

Они прожили тут несколько лет не особенно замеченные. Их солидный возраст спас их от излишних передряг и волнений.

Они вскоре утвердились во владении дачей и в первые годы нэпа, не желая отставать от требований времени, открыли здесь частный пансион. И пять лет вели это дело, довольные собой и делами.

3

Итак, одна старуха в тихом раздумье проводила время в саду. А другая энергично хозяйничала.

Эта вторая дама была весьма глупая и несколько бестолковая старуха. Беседуя за столом со своими пансионерами, она подчас несла такую околесицу, что просто было удивительно видеть, как эта представительница слабого пола, окончившая в свое время институт, могла до такой степени договариваться. У нее были спутаны все понятия и представления о мире и людях.

Тем не менее она не раз рисковала пускаться в беседы о политике. И пансионеры, не сдерживая улыбок, слушали ее бестолковые речи.

Но за этой бестолковщиной довольно явственно была видна нехитрая политическая платформа, на которой хоть и шатко, но весьма упорно стояла наша дама.

Она была настроена удивительно контрреволюционно. Ничто из нового ее не удовлетворяло и не устраивало. Она была против крепостного права, но все остальные нововведения за последние сто лет она считала лишними, снижающими жизнь в ее праздничной красоте и величии.

Она приводила примеры из жизни муравьев, которые от природы делились на классы, и сравнивала настоящий момент с гибелью Рима. Себя и нескольких пансионеров она причисляла к римлянам, а во всех остальных она видела пришлый элемент из далеких варварских стран.

Кой-какие знания из области истории и зоологии, почерпнутые в институте полвека назад, теснились теперь в ее голове в хаотическом беспо-

рядке. Но она не без некоторой ловкости оперировала этим в своих политических докладах.

Нас было десять пансионеров: два инженера, журналист, несколько скучающих дам и один молодой, веселый студент, приводивший старуху в содрогание своим поведением.

Студент этот, подтрунивая и разыгрывая старуху, нарочно говорил на каком-то особом жаргоне, употребляя всякие блатные словечки и выражения.

Вместо «ел» он говорил «подрубал», прося передать блюдо, говорил: «Нуте, старушка, передайте эту хреновину», а старухино светское общество он называл «гоп-компания».

Пансионеры умирали со смеху, глядя на нашу хозяйку. Она принимала эти речи за чистую монету и всякий раз всплескивала руками, находя подтверждение своим мыслям и гибели культуры, об утрате тонких чувств и безвозвратно ушедшей поэзии.

И всякий раз после комических речей студента она, как бы в противовес, приводила примеры из прошлой жизни, наполненной восхитительным изяществом и сказочной поэзией. Она рассказывала нам о каких-то волшебных переживаниях, о каких-то неслыханных моментах, в которых она была участницей. Она говорила, что теперь все ее раздражает и все сердит. Что она когда-то считала лучшими моментами жизни глядеть на море, на серебристую луну, на людей, сидящих и любующихся этой панорамой. Сейчас она предпочитает сидеть дома. Ее волнует и раздражает не нужная никому теперь ночная панорама и это шлянье простого народа по набережной.

4

Однажды за ужином после таких речей мы попросили старуху рассказать нам о самом ярком ее воспоминании, о самом сильном ее переживании, связанном с Ялтой.

Все отвлеченные разговоры о красоте прошлой жизни были неубедительны. И мы хотели услышать какой-нибудь эпизод, какой-нибудь подлинный случай из той жизни, а не ее риторические беседы о волшебных любовных переживаниях и о любезном внимании любовника, приехавшего сюда тридцать лет назад с красивенькой дамочкой, какой она когда-то была.

Старуха с готовностью согласилась рассказать нам о самом сильном ее переживании, наполнившем когда-то ее сердце неслыханным волнением и трепетом.

— Я приехала сюда с мужем,— сказала она,— в 1908 году. Мой муж был офицером гвардии. Мы приехали с ним весной. И остановились в гостинице «Джалита».

Он меня так любил, что современные люди даже частично не могут себе представить, что это так бывает. Но в те дни наша любовь отошла на второй план, так как мы готовились к встрече царской семьи.

Мы устраивали в Ялте весенний благотворительный базар в пользу чахоточных. И царская семья, проживавшая в то время в Ливадии, собиралась присутствовать на открытии.

Можете представить наше волнение и наши надежды! Замеченные на базаре государем, мы могли быть даже приглашены ко двору, и мой муж мог сделать себе карьеру, о которой он мечтал всю жизнь.

И вот представьте себе прелестное майское утро. Мы выходим с мужем. И идем по набережной в курзал. Там уже все готово к встрече царской фамилии.

Мы идем с мужем, и волнение душит нас. У меня подкашиваются ноги. И я не могу идти. «Мой друг,— говорю я мужу,— постоим минутку». И мы останавливаемся на набережной. И я гляжу на синюю гладь моря, на безбрежную даль, на дельфинов, которые показываются на поверхности.

Мой муж держит меня под руку. Я ему говорю: «Мой друг, я запомню этот момент на всю жизнь. Мне кажется, что сегодня произойдет нечто небывалое в нашей жизни».

И мы снова продолжаем наш путь. Мы приходим в курзал. Там уже все на местах. И я становлюсь за свой киоск. У меня киоск с шампанским. Я разливаю по бокалам шампанское. И те, которым угодно выпить, берут бокал и на поднос кладут деньги — сто рублей, двадцать пять или золотые монеты.

Я была очень хорошенькой женщиной. Около моего киоска моментально образовалась пробка из блестящих офицеров и штатских. Но я боюсь, что это заслонит меня от государя, и я держусь со всеми холодно и вызывающе.

Вдруг волнение достигает наивысшего напряжения. Раздаются возгласы: «Государь приехал».

И мы все замираем в неподвижных, почтительных позах.

И вот придворные расступаются, и мы видим незабываемую картину — идет государь Николай Второй. Рядом царица. И матрос на руках несет царевича.

Они дефилируют около моего киоска, и вдруг, к зависти всех, они останавливаются около меня. Царица говорит мне: «Как у вас идут дела, моя крошка?» И я, еле превозмогая волнение, говорю: «Ничего себе, ваше величество». И дрожащей рукой показываю ей на блюдо, наполненное кредитками.

Вдруг царевич, сидящий на руках матроса, говорит: «Мама, поглядите, какая у нее на шляпе миленькая птичка».

А в то время, надо вам сказать, все дамы носили шляпы с художественными украшениями. Блондинки носили на шляпах цветы, листья, ягоды или перья. Брюнетки украшали шляпы искусственными фруктами — там маленькие райские яблочки, сливы, вишни и так далее. В то время это считалось модным.

А у меня на шляпе была, представьте себе, веточка с вишней, и на ветке сидела маленькая голубая птичка с желтыми глазками. Мы с мужем это привезли из Дрездена, и это было действительно произведение искусства. Многие восхищались тонкой, художественной работой.

И вот царский ребенок, увидев эту птичку, потянулся к ней.

Матрос Деревенько делает шаг ко мне. И царственное дитя своей ручкой начинает хватать мою птичку и начинает теребить ее.

Я стою ни жива ни мертва. Счастье охватывает все мое существо. И страх, что царевич может сейчас уколоть свою ручку о булавку, сковывает меня до того, что я перестаю дышать.

Тишина воцаряется вокруг.

Многие, не понимая еще, что это значит, замирают в предчувствии необычайного.

Я вижу моего мужа, который, белый от страха, стоит в отдалении. Я вижу, что он счастлив, но он тоже боится и не знает, чем все это кончится. Я делаю ему знак — мол, не волнуйся, мой друг, все будет хорошо.

И тут меня осеняет мысль — снять птичку со шляпы и преподнести его высочеству.

Почтительно прижимая одну руку к сердцу, я другой рукой отрываю птичку с веткой и преподношу царственному младенцу.

Я вижу — царевич хочет ее принять от меня и смотрит на свою мамашу. Но та говорит ему что-то по-английски, и я, не понимая этого, стою, дрожа от счастья и волнения.

Один из придворных мне потом делает перевод с английского. Он говорит, что царственная мать высказала соображение — не заразился бы ее ребенок чем-нибудь, если он возьмет мою птичку. И она не позволяет ему ее взять. Тогда матрос Деревенько берет от меня птичку. И вся августейшая семья, довольная, отходит от моего киоска и дефилирует дальше. И перед тем как отойти, государыня, открыв свою сумочку, кладет мне на поднос кредитку в пятьсот рублей.

Муж и придворные окружают меня, поздравляя и благодаря за мою находчивость.

А я, почти ничего не соображая, стою со сбитой набок шляпкой и гляжу на всех счастливым, невидящим взором.

И вот кончается базар. Мы с мужем возвращаемся назад. Мы снова идем по набережной. Снова глядим на море. И несказанное чувство радости и волнения снова душит нас. И, прижавшись друг к другу, мы стоим, ослепленные счастьем и радостью.

5

Старуха закончила свое повествование, утирая слезы.

Наш веселый студент, усмехнувшись, спросил:

— Ну и что же?

— То есть как что же? — сказала гневно старуха.

— Да, но я в этом эпизоде ничего особенного не вижу,— сказал студент.— Напротив, царица не велела взять птичку. Она сказала ребенку, что это зараза. Если хотите знать, она вас просто даже этим оскорбила.

Старуха, гневно посмотрев на студента, ничего не ответила.

— Просто дурацкая история,— сказал студент, давясь от смеха.— И, главное, вас с мужем даже ко двору не пригласили с вашим раболепством. Только зря птичку оторвали от своей художественной шляпки.

— Да, но мои переживания,— с волнением сказала старуха,— были мне всего дороже. Я не могу передать вам те чувства, когда мы вечером с мужем снова вышли на море и, как изваяния, стояли, глядя на луну, на серебристую лунную дорожку, искрящуюся на море. Вот это счастливое чувство радости, этот трепет, которые душили нас с мужем, я никогда впоследствии не испытывала. И после этой вашей революции я поняла, что вся эта радость жизни, которую я знала, никогда больше не повторится.

Студент засмеялся.

— Слушайте, маман,— сказал он,— вы порете чушь. Вы просто были тогда молоды. У вас были еще всякие, может быть сильные, чувства. И вот вы и переживали всякую муру вроде этой истории с птичкой.

Мы все засмеялись.

— К тому же,— сказал один инженер,— ваше политическое настроение соответствовало тому, что было. Вот оно и получилось у вас так божественно.

Старуха осоловело поглядела на всех нас.

— Я вчера,— сказал студент,— гулял при луне с одной особой, вы знаете с кем... Так можете представить, какие чувства я испытывал. Уж наверно, мамаша, посильнее, чем вы двадцать пять лет назад. Просто вы контрреволюционно настроены.

Старуха встала из-за стола и, надменно пожелав спокойной ночи, проследовала в свою комнату.

6

Кажется, год или два спустя я неожиданно встретил старуху в Ленинграде.

Знаменитое землетрясение в Ялте разрушило их виллу «Тишина».

Дом дал сильную трещину, и они продали его. Они не захотели больше оставаться в Ялте, где вместо тишины и покоя они нашли бог знает что.

— Я много лет жила в Ялте,— надменно сказала мне старуха,— но такого землетрясения никогда еще в Ялте не было. Конечно, я понимаю, что революция тут ни при чем, но согласитесь сами, что это по большей мере странно, что нам выпали такие события вместо ожидаемого покоя. Только иронически можно было назвать так, как мы назвали, нашу виллу.

Я спросил ее, зачем она приехала в Ленинград. Она сказала, что она купила в Ленинграде комнату и собирается здесь жить. Она хотела бы устроиться какой-нибудь кастеляншей в больницу или экономкой в дом отдыха, так как бездеятельная жизнь ее не устраивает. Слишком много мыслей о прошлом, и она хотела бы их заглушить. И, кроме того, надо зарабатывать, так как ее маленького имущества хватит ей ненадолго.

Она действительно вскоре устроилась на работу в больницу. И некоторое время там работала. Но недавно я узнал, что она умерла. И что после ее смерти в ее комнате под матрацем нашли двадцать восемь золотых колец, пятнадцать браслетов, много серег с бриллиантами и всякие ценности на сумму до трехсот тысяч по теперешнему счету.

Другая старуха — ее подруга — еще раньше, вскоре после землетрясения, тихо скончалась в Ялте, и вилла «Тишина» прекратила свое существование.

1937

ВЕСЕЛАЯ ИГРА

Давеча я кушал в ресторане и после того заглянул в бильярдную. Хотелось посмотреть, как там, как говорится, шарики катают.

Слов нет — игра интересная. Она занятная и отвлекает человека от всевозможных несчастий. Некоторые даже находят, что бильярдная игра развивает мужество, глазомер и натиск. А врачи утверждают, что эта игра для неуравновешенных мужчин крайне полезна.

Не знаю. Не думаю. Другой неуравновешенный мужчина, играя на бильярде, до того нальется пивом, что после игры еле домой ползет. Так что я сомневаюсь, чтобы это для нервных и расстроенных было полезно.

А что это глазомер усиливает, то как сказать. Тут одному с нашего дома партнер, прицеливаясь, глаз кием подбил. И хотя тот не ослеп, но все-таки слегка окривел. Вот вам и развитие глазомера. И если ему теперь по другому глазу пройдутся, то человек и вовсе глазомера лишится.

Так что в смысле пользы это уж, как говорится, бабушкины сказки.

Но игра, конечно, забавная. Особенно когда «на интерес» играют — очень увлекательно смотреть.

Конечно, на деньги сейчас играют редко. Но зато что-нибудь придумывают оригинальное. Некоторые заставляют проигравшего под бильярд лезть. Другие заставляют поставить пару пива. Или велят заплатить за игру.

А когда я на этот раз зашел в бильярдную, то увидел очень смехотворную картину.

Один выигравший велел своему усатому партнеру со всеми шарами под бильярдом пролезть. Он запихал ему шары во все карманы, в каждую руку дал по шару и вдобавок один шар подсунул под подбородок. И в таком виде проигравшийся под общий смех прополз под бильярдом.

После новой партии выигравший снова нагрузил усатого шарами и вдобавок велел ему взять в зубы кий.

И тот, бедняга, снова полез под гомерический хохот собравшихся.

Для новой партии они уж и не знали, что придумать.

Усатый говорит:

— Давайте что-нибудь полегче, а то вы меня и без того загнали.

А у него, действительно, даже усы книзу повисли, до того он задергался.

Выигравший говорит:

— Зато, дурак, я тебя великолепно научу на бильярде играть благодаря таким штрафам.

А с выигравшим был еще его приятель. Тот говорит:

— Я придумал. Если он проиграет, давайте так: пущай он лезет под бильярд, нагруженный шарами, а мы ему к ноге вдобавок привяжем ящик с пивом. Пущай он в таком виде пролезет.

Выигравший, засмеявшись, говорит:

— Браво! Вот это будет номер!

Усатый обиженно говорит:

— Если ящик будет с пивом, то я играть не буду. С пустым ящиком мне и то трудно будет лезть.

В общем, он проиграл, и тут под общий смех усатого снова нагрузили шарами, в зубы дали ему кий и к ноге привязали ящик. Вдобавок друг выигравшего начал пихать усатого кием, чтобы тот быстрее проходил свой маршрут под бильярдом.

Выигравший до того хохотал, что упал на стул и хрюкал от изнеможения.

Усатый вылез из-под бильярда сам не свой. Он осоловело поглядел на всех собравшихся и даже некоторое время не двигался. Потом он выгрузил из карманов шары и стал отвязывать от ноги ящик с пивом, говоря, что он больше не играет.

У выигравшего текли слезы от смеха. Он сказал:

— Ну, голубчик Егоров, сыграем еще одну партию. Я еще забавную штуку придумал.

Тот говорит:

— Ну, что вы еще придумали?

Выигравший, давясь от смеха, говорит:

— Давай, Егоров, сыграем на твои усы. Мне твои пушистые усы давно противны. Если выиграю я, то отрежу тебе усы. Идет?

Усатый говорит:

— Нет, на усы я играть не буду, или же дайте мне сорок очков вперед.

В общем, он опять проиграл. И никто не успел опомниться, как выигравший схватил столовый нож и начал отпиливать пушистый ус у своего незадачливого партнера.

В зале помирали от смеха.

Вдруг один из присутствующих подходит к выигравшему и так ему говорит:

— Наверное, ваш партнер дурак, что он соглашается на такие штрафы. А вы этим пользуетесь и насмехаетесь над человеком в общественном месте.

Друг выигравшего говорит:

— А ваше какое собачье дело? Ведь он добровольно соглашается.

Выигравший говорит своему партнеру томным голосом:

— Егоров, подойди сюда. Ответь общественности, что ты добровольно соглашался на все штрафы.

Партнер, придерживая рукой полуотрезанный ус, говорит:

— Известно, добровольно, Иван Борисович.

Выигравший говорит, обращаясь к публике:

— Другой там заставляет шофера ждать на морозе три часа. А я к людям гуманно подхожу. Это шофер с нашего учреждения, и я его завсегда в тепло беру. Я к нему не свысока отношусь, а я с ним по-товарищески на бильярде играю. Учу его и маленько наказываю. И что теперь ко мне придираются — я прямо не пойму.

Шофер говорит:

— Может, тут из публики есть парикмахер. Просьба подровнять мне усы.

Из толпы выходит один человек и говорит, вынимая из кармана ножницы:

— Сердечно рад подровнять ваши усики. Если вы желаете, я вам сделаю их, как у Чарли Чаплина.

Пока парикмахер возился с шофером, я подошел к выигравшему и сказал ему:

— Я не знал, что это ваш шофер. Я думал,

что это ваш приятель. Я не позволил бы вам устраивать такие номера.

Выигравший, немного струхнув, говорит:

— А вы что за птица?

Я говорю:

— Я про вас статью напишу.

Выигравший, оробев, говорит:

— А я вам свою фамилию не скажу.

Я говорю:

— Я только факт опишу и добавлю, что это был довольно плотный рыжеватый мужчина, с именем Иван Борисович. Конечно, этот номер вам, может быть, и пройдет, но если и пройдет, то пусть ваша гнилая душа передернется перед напечатанными строчками.

Друг выигравшего, услыхав насчет статьи, моментально смотал удочки и исчез из помещения.

Выигравший долго хорохорился и пил пиво, крича, что он плюет на всех.

Шоферу пообрезали усики, и он стал несколько моложе и красивее. Так что я даже решил писать фельетон не очень свирепого характера.

И, придя домой, как видите, написал. И теперь вы его читаете и, наверно, удивляетесь, что бывают такие горячие игроки и встречаются такие малосимпатичные рыжеватые мужчины.

1937

ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА

Почему-то некоторые люди не умеют отдыхать.

Одни весь свой отпуск проводят в расстройстве чувств: как бы, например, нянька в их отсутствие не грохнула ребенка с рук.

Другие, приехав на курорт, ходят две недели как очумелые: не могут привыкнуть к чуждой природе или там к общежитию.

Третьи вообще не умеют без работы находиться. А как без дела остаются, так прямо теряют почву под ногами: худеют, кашляют и впадают в пессимизм.

Четвертые пугаются, как бы их землетрясение не закачало.

Пятые полны предчувствия, что во время отпуска их кто-нибудь «подсидит» на службе.

Ну, этих последних еще можно понять, поскольку это действительно бывает. Другой человек годами сидит на месте, и с ним ничего не случается. А уехал в отпуск — и что-нибудь такое непременно будет.

Через это многие не любят трогаться с места и предпочитают отдыхать безвыездно.

Но не только эти категории людей, а если вообще на всех поглядеть, то можно увидеть, что большинство не умеет отдыхать.

Недавно нам случилось быть на черноморском побережье.

И мы из Севастополя выехали в Ялту на автобусе.

Дорога там, как известно, исключительно красивая. Некоторые новички даже ахают, когда в первый раз едут. И действительно, очень кругом художественно. Внизу Черное море плещется. Слева чертовские горы. Южное солнце с синего неба припекает. Природа отчасти дикая, но вместе с тем такая, которая заставляет желать все время тут находиться.

И вот, значит, едем мы по этой художественной дороге в автобусе. И вдруг — хлоп!— шина лопнула.

Тут начались ахи и охи. Пассажиры вышли из машины, чертыхаются, скулят, ругают шофера, зачем он поехал на такой паршивой шине.

Особенно сильно одна мадам расстраивалась. И даже у нее с шофером чуть целая баталия не произошла.

Она визгливо говорит шоферу:

— Я, говорит, на вас жалобу напишу. Мы едем отдыхать. И нам каждый час дорог. А вы нас заставляете бесцельно ожидать. Вы, говорит, наверно, пропиваете новые шины, а нас на старых возите. Еще, говорит, спасибо, что с такой кручи нас не опрокинули со своей дрянной шиной. Вот был бы у меня хорошенький отпуск.

Шофер ей говорит:

— Знаете что, отвяжитесь! А то я плохо произведу ремонт, и мы снова будем иметь аварию. А если хотите знать, шина у меня была довольно хорошая, когда мы поехали. Но вас в машину столько понасело с мешками и с тючками, что даже совершенно новую шину может к черту разорвать... Отойдите, вы мне свет затемняете.

Мадам совершенно зашлась от этих слов шофера. И даже она стала заикаться. Но тут другие пассажиры морально поддержали ее и стали шоферу делать выговор.

Вдруг один довольно полный пассажир говорит:

— Слушайте, вот я гляжу на всех вас и как стопроцентный советский гражданин душевно за всех страдаю. Но особенно заставляет меня удивляться эта визгливая мадам.

Мадам было хотела с ним схлестнуться, но он ей так сказал:

— Слушайте, мадам, вот вы едете на отдых. И я так понимаю, что хотите подновить свои нервы и прибавить пару килограммов веса. Так вот и начинайте отдыхать... Вот произошла, так сказать, вынужденная посадка. Вот вы и пользуйтесь моментом. Кругом такая дивная красота. Природа. Вон, глядите, никак лиса по горе пробежала. Допустим даже, что это не лиса, а собака,— все равно интересно. Пройдитесь для моциона к этой горе. Уединитесь временно от общества, поскольку у вас, видать, центральная нервная система не в порядке и вы чуть на людей не бросаетесь. Все это вам будет исключительно полезно. А заместо этого что мы видим — вы, извините, орете, портите свою драгоценную кровь и через это, наверно, уже потеряли килограмм со своего мизерного весу.

Шофер говорит:

— Она килограмм, да я через нее килограмма три потерял. Вот и сосчитайте.

Полный пассажир говорит:

— Или я гляжу на других пассажиров. Все ахают, недовольны: зачем остановка? Торопятся, как на пожар. А среди них некоторые, видать, чахоточные, другие нервно хворают, третьи, может быть, перенесли операцию. И им всем полезно полежать под целебными лучами солнца, полезно походить, посбирать цветки или просто посидеть

на камешке и полюбоваться дикой природой... Или поглядите на меня. Разве я бранюсь с шофером или недоволен, что шина треснула? Напротив, я еще более повеселел. И очень рад, что могу часок-другой побеседовать с природой. Вот как я понимаю отдых. И вот как надо всем поступать.

Мадам горела, как на огне: до того ей, видать, хотелось схлестнуться с этим полным добродушным пассажиром. Но, видя, что он говорит разумные вещи, отошла в сторонку и стала собирать одуванчики, чтобы по приезде поставить их на ночной столик.

Другие пассажиры тоже отошли от шофера. Некоторые пошли к горе. А некоторые сели у дороги и стали любоваться панорамой. А одна барышня стала строчить письмо.

И тут мир и тишина воцарились вокруг.

Я подошел к этому полному пассажиру и говорю ему:

— Позвольте пожать вашу руку. Из всех нас вы отличаетесь наибольшей мудростью. Вы, говорю, философски подходите к вопросам отдыха. И я, говорю, рад с вами поближе познакомиться.

Тут мы с ним приятно побеседовали, и я, желая с ним еще более подружиться, спросил, куда он едет отдыхать.

Он говорит:

— Да нет, я не из отдыхающих. А я тут работаю на побережье. И в такую жару еду, представьте себе, на какую-то там комиссию, переучет и так далее, черт бы их побрал!

Я говорю:

— То-то, говорю, вы и не торопитесь.

Тут он немножко засмеялся и говорит:

— Нет, я тороплюсь, но поскольку произошла вынужденная посадка, то отчего бы мне не посидеть вблизи с природой? А они там меня подождут. Раз такое дело — авария.

Я говорю:

— То-то вы и агитируете за отдых и разводите философию на мелком месте.

Он говорит:

— Нет, агитирую я чистосердечно, поскольку я и сам этому, откровенно скажу, обрадовался. А то сейчас приеду, как начнут смолить цифры, суммы, расходы — душа вянет. А тут такая божественная красота, такая южная симфония.

В этот момент шофер закончил свой ремонт и дал гудок. Пассажиры бросились к машине, и вскоре мы поехали в Ялту, в эту жемчужину Крыма.

1937

ПОХВАЛА ТРАНСПОРТУ

Давеча я был в гостях у одного знакомого инженера.

А этот инженер тем отличался от многих других инженеров, что он имел свой автомобиль марки «ГАЗ».

Не знаю, как на других людей действует собственный автомобиль, а на этого моего знакомого получение автомобиля подействовало удручающим образом.

До этого он был милый человек, и у него было довольно интересно бывать в гостях. А теперь он все равно как переродился. Все мысли его теперь витали вокруг автомобильной промышленности. И ни о чем другом, кроме как об этом, он теперь не говорил.

И тот гость, который имел нахальство коснуться чего-нибудь другого, наносил этим хозяину личное оскорбление.

В общем, часов до трех промаявшись с разговорами об особенностях той или иной автомобильной марки, гости стали собираться, чтоб идти по домам.

Хозяин, мило улыбаясь, сказал:

— Находясь в другом месте, вы, дорогие гости, затрюхали бы по домам пешочком или, как говорится, поехали бы на своем одиннадцатом номере. А от меня вы все поедете автомобилем. Как вам, собственно говоря, это нравится?

Гости выразили восхищение.

Хозяин сказал:

— Не знаю, как вы, но я буквально чувствую себя отдельной человеческой единицей, вокруг которой вращаются все миры... Вот сейчас я позвоню моему шоферу и велю ему подать к подъезду мой автомобиль.

Хозяин пошел к телефону и стал звонить. Потом, вернувшись к гостям, сказал, вздохнувши:

— Сейчас автомобиль будет подан... Единственное, знаете, неудобство — это то, что наш гараж в одном районе, мы — в другом, а шофер, представьте себе, живет за Невской заставой. Но я велел моему шоферу срочно добраться до гаража. Тем более он живет не так уж далеко: минут пятнадцать-двадцать идти пешком.

Жена инженера говорит:

— Ах, Коля, жаль, что ты не приказал шоферу взять такси. Он бы взял такси и мигом доехал до гаража.

— Ах да, в самом деле,— сказал хозяин, просияв,— я всякий раз забываю об этом удобстве. Сейчас я позвоню шоферу, он, наверно, еще не ушел.

Шофер действительно еще не ушел. И хозяин велел ему взять такси, чтоб поскорей добраться до гаража.

Один из гостей говорит:

— Послушайте, но, может быть, нам попросту доехать на этом такси, которое возьмет шофер?

Эта мысль удивила и даже несколько испугала хозяина. Он сказал:

— Ну что вы, иметь свой автомобиль и ехать в такси! Нет, я вас до этого не допущу.

Мы стали ждать.

Минут через двадцать раздался телефонный звонок. Это позвонил шофер.

Не знаю, что именно он доложил, но хозяин, обернувшись к нам, сконфуженно сказал:

— Шофер говорит, что он не может такси найти. Он дошел, представьте себе, до вокзала, нашел одно такси, но оно не берется ехать: ему не по пути. Сейчас я велю моему шоферу дойти пешком до центра и там взять такси.

Один из гостей полувопросительно говорит:

— А может, нам в самом деле поехать в такси, которое достанет сейчас шофер?

— Это идея,— говорит хозяин.— Сейчас я ве-

лю моему шоферу подъехать на такси сюда. А отсюда такси мигом доставит вас к гаражу. А уж там, будьте покойны... Нам только бы добраться до гаража.

Отдав соответствующее распоряжение шоферу, хозяин начал беседовать с гостями вообще о пользе транспорта.

Минут через двадцать такси стояло у подъезда.

Гости и хозяева вышли на улицу.

Один из гостей, вздохнув, говорит:

— В сущности говоря, как-то даже обидно: иметь под рукой такси и вместе с тем ехать к черту на кулички. Ей-богу, давайте сядем и поедем домой в этом такси. Так было бы славно очутиться сейчас дома. А тут — извольте ехать к гаражу.

Хозяин тихо говорит:

— Нет, я прошу вас... Теперь уж это неудобно... Все-таки я разбудил шофера. Он шлялся по улицам больше часу... Нет уж, я прошу вас поехать.

Гости стали размещаться в машине.

Но поскольку одно законное место было занято шофером такси, а другое — шофером хозяина, то оставалось всего лишь три места. А гостей было пять человек.

Хозяин, сосчитав гостей, говорит:

— Жаль, что мой шофер не захватил два такси. А теперь я уж и не знаю, как быть. Давайте так: пусть три гостя сядут на заднее сиденье, а два гостя пусть тут у подъезда подождут мою машину...

Гости сконфуженно молчали. Хозяин говорит:

— Или нет. Давайте так: один гость и шофер подождут у подъезда, а остальные пусть себе едут к гаражу.

Жена инженера говорит:

— Нет, так ничего не выйдет, потому что нашу машину некому будет сюда привезти. И те и другие будут только напрасно ждать.

Хозяин говорит:

— Правильно. Как жаль, что у нас пять гостей, а не трое. С троими мы бы в один миг управились... Давайте тогда так: трое пусть поедут, а шофер и один гость пусть себе понемножку идут пешком вслед за ними.

Один из гостей, испугавшись, что его пошлют пешком, незаметно и, как говорится, по-английски смылся.

Осталось четыре гостя.

Подсчитав гостей, хозяин сказал:

— Теперь легче. Теперь давайте так: три гостя и шофер пусть едут на такси. А четвертый гость — на выбор: хочет он — тут подождет, не хочет — пусть себе идет к гаражу пешком.

Один из гостей говорит:

— Глядите: грузовой трамвай идет. Привет! Я лучше сейчас на прицепку прыгну.

Гость вскочил на прицепку и вскоре исчез в туманной дали.

Хозяин говорит:

— Он не хотел подождать машины, пусть сам на себя пеняет. Рассаживайтесь теперь и поезжайте с богом.

Шофер уныло говорит хозяину:

— Только не забудьте, Николай Петрович, дать мне денег расплатиться с такси. Да еще за утреннее такси я заплатил из своих двенадцать рублей.

Порывшись в бумажнике, хозяин дал шоферу денег и грустно сказал:

— Да, это такси вскакивает мне в копеечку.

Жена инженера говорит:

— По-моему, такси тебе обходится не меньше как тридцать рублей в день. Если бы не такси, мы бы давно поменяли наш «ГАЗ» на «М-1».

Наконец мы тронулись в путь.

По дороге гости стали упрашивать шофера развезти их по домам, не заезжая в гараж.

Хозяйский шофер неожиданно согласился и даже обрадовался. Он сказал:

— Это будет самое правильное. А то у меня был такой случай: я отвез гостей в гараж, да там мы и промаялись часа полтора. Пока охрану разбудили, да пока заправил, да пока пятое-десятое, глядим: уже трамваи пошли. Все гости так и поехали на трамвае.

Вот такси стало развозить нас по домам, а хозяйский шофер говорит:

— Единственно, я теперь боюсь, что мне с такси расплатиться не хватит. Все-таки большой крюк делаем и стоянка...

Мы дали шоферу по пять рублей, и он нам сказал, что теперь, пожалуй, хватит, а в крайнем случае он до Невской заставы доберется пешком.

1938

ЖИВЫЕ ЛЮДИ

Что-то последнее время я стал часто про попов писать.

Сколько имеется важных и оригинальных проблем, а перо иной раз склоняется к описанию духовенства.

Конечно, это тоже, я так думаю, отчасти сатира, если про попов писать. Тем более они в настоящее время усилили свою деятельность. Многие из них включились в активное движение по завербовке населения в лоно религии. Другие хлопочут, чтоб их куда-нибудь там выбрали. Третьи вообще распространяют религиозные и сумбурные идеи. Так что писать про это не есть отставание от жизни или там выбор безответственных тем.

Одну сельскую церковь обслуживал старенький поп. И вот он чем-то захворал и уехал, и на его место прибыл новый поп, вдобавок молодой, энергичный, из новых кадров.

Вот он прибыл на село и думал, что тут ему моментально отведут квартиру и все прочее. Но как раз этого не случилось. У некоторых не было лишнего помещения, а другие стеснялись пустить к себе попа. Они говорили: «Попа мы пустим, а потом про нас будут говорить: вот, дескать, пустили попа».

Подобное отношение не смутило энергичной души священнослужителя. Он так сказал на селе:

— То, что вы меня не пустили на свою жилплощадь, показывает всю слабость работы моего престарелого предшественника. Но не такое я есть лицо, которое отступает в панике и беспоряд-

ке. Жить в лесу и питаться шишками я не буду. Я сюда прибыл не на рандеву, а по требованию. И поэтому я поселюсь в самой церкви и стану там жить, пока не получу то, что меня удовлетворяет. В алтаре я не стану находиться, а за алтарем, где есть маленькое окошечко, я непременно поселюсь и буду там жить, хотя бы вы все с ума сошли.

Среди придерживающихся религии началось некоторое недовольство. Такое, можно сказать, божественное место — храм, а тут, короче говоря, поп будет сушить свои портянки и вдобавок вдруг еще тут блох разведет или что-нибудь вроде этого.

Но поскольку никто из религиозников не дрогнул в смысле предоставления попу квартиры, то так и случилось, как сказал поп.

Он поселился в храме и стал там без смущения жить. И даже там на примусе что-то он себе пек, варил, кипятил и жарил.

Это поведение вызвало большие толки и пересуды среди населения. Многие даже специально стали сюда приезжать, чтобы посмотреть в церковное оконце, как там устроился поп, как он там, нахал, живет и что себе стряпает.

И вот проходит, представьте себе, два месяца, и вдруг в народе распространяется слух, что священнослужитель не только спит в церкви, но он еще вдобавок влюбился в одну вдову и теперь ее сюда к себе в гости приглашает, не отдавая себе полного отчета, что он такое делает с точки зрения христианской морали.

Это последнее дело переполнило чашу терпения религиозников. И группа верующих решила накрыть попа с поличным.

И когда вдова пришла к попу на свидание и верующие вполне удостоверились, что так оно и есть, как говорилось в народе, возмущение достигло своего предела.

Кем-то был пущен камень в оконце. А кое-кто даже хотел бревном выломать двери. Но до этого не дошло, поскольку сам поп открыл двери и вышел к верующим. Он им так сказал:

— Квартиру вы мне не предоставили. А теперь вы, собаки, около моей двери шум поднимаете и разбили мне окно. Очень это красиво, благодарю вас. Но вы напрасно тревожитесь. Мы, попы, не какие-нибудь там черные монахи; мы люди живые, и нам не чуждо все земное. И я могу повторить то, что я вам сказал: жить в лесу и питаться шишками я не буду. А лучше вы подумайте, где мне иметь квартиру. И идите себе с богом и не скандальничайте... А то, что вы мне стекло разбили, это такое нахальство с вашей стороны, что я даже и не знаю теперь, как я к вам отнесусь и сколько с завтрашнего дня я буду брать за каждую отдельную службу и за упокой вашей души.

Верующие прямо удивились, какой им попался поп. Они больше скандалить с ним не стали. Но на другой день подали в сельсовет заявление: дескать, вот какой случай, нельзя ли, дескать, попа одернуть, дескать, живет в церкви и вдобавок вот какой имеет характер.

Мы не преувеличиваем — сельсовет энергично взялся за дело и с соответствующей резолюцией двинул это заявление в область с тем, чтобы там образумили попа.

Там, в области, немножко над этим посмеялись и вернули заявление в сельсовет с указанием не тревожиться за частный быт попов.

В общем, молодой, энергичный поп живет все еще в храме, и там он спит и кушает. Но верующие (чего доброго, вместе с кружком безбожников) уже начали отстраивать небольшую хибарку, куда и хотят с осени переселить попа.

Только не знаем, переедет ли он туда. Ему в храме светлей и воздуха больше.

1938

ЛЮДОЕД

В этом году у нас в доме состоялся товарищеский суд.

Судили одного квартиранта Ф. за его хулиганский поступок.

Дело в том, что у нас огромный дом с населением свыше тысячи жильцов. И наш дом имеет свою стенную газету под названием «За жабры».

Так вот этот квартирант Ф., прочитав там однажды стихи про себя, пришел в бешенство и с криком: «Всех перестреляю!» — сорвал эту газету.

Кроме того, он дернул за волосы двенадцатилетнего парнишку — сына редактора газеты. И вдобавок с воплем: «Я тебе голову сорву!» — погнался за поэтом, автором этих стихов.

Факт, конечно, печальный, недостойный нашей современности.

А надо сказать, что наша газета раньше не пользовалась успехом среди жильцов. На нее мало обращали внимания, поскольку, кроме редактора, никто не затруднял себя чтением этого печатного органа.

Но потом решено было повысить уровень этой газеты. И было решено привлечь к работе одного поэта-сатирика, живущего в соседнем доме.

Тот долго отказывался, но потом сказал:

— Я за деньгами не гонюсь. Но я люблю работать «на интерес». Это меня стимулирует. Положите мне за строчку хотя бы по гривеннику, и тогда я не только подыму вам газету, но прямо из нее устрою кипящий котел, в котором, не жалея себя, буду варить всех ваших жильцов, так что они, как говорится, света божьего не взвидят. И тогда я ручаюсь за успех: толпа будет стоять около вашей стенной газеты.

Сначала этот поэт-сатирик описывал убожество лестниц и недочеты помойной ямы, но когда ему повысили гонорар до тридцати копеек за строчку, он перешел на людей и в короткое время отхлестал своими стихами почти всех жильцов, включая дам и детей.

После этого он, не встречая сопротивления, пошел, как говорится, делать второй круг по тем же людям, с каждым разом заостряя свою сатиру все больше и круче.

Наконец он поместил стихи против квартиранта Ф., который, как мы говорили, пришел в бешенство, натворил черт знает что и теперь предстал перед судом.

Разорванная стенная газета была склеена. И стихи были оглашены на суде. Вот эти стихи:

К ПОДЛЕЦУ Ф.

Квартплату в срок не вносит,
Говорит, что денег нет.
А замшевую кепку носит
Сей обнаглевший наш брюнет.
И барышень в такси катает —
На это у него хватает.
Дрова он колет на полу,
Топор вонзается в паркет.
Ударим мы его по лбу,
Чтоб сей зазнавшийся брюнет
Не мог вредить у нас в дому.

Вот эти стихи и вызвали припадок бешенства жильца Ф.

На суде квартирант Ф. сказал:

— В этом стихотворении имеется только одна строчка правды, в которой говорится, что я ношу замшевую кепку. Все остальное суть наглая ложь. Квартплату я вношу аккуратно и только один месяц просрочил по случаю беременности моей жены. Что касается такси, то это я вез мою жену на консультацию в родильный дом. Насчет же того, что я дрова колю на полу,— это есть чистая выдумка. Пол действительно у меня порублен, но это в голодные годы прежний жилец колол тут дрова. А сейчас у нас есть дворник, который и может подтвердить, что все дрова он мне колет во дворе. Все это вместе взятое вызвало у меня затемнение рассудка, и я совершил поступки, недостойные советского гражданина.

Председатель товарищеского суда говорит:

— Как это, право, нехорошо у вас получилось. Вы бы вместо того, чтобы рвать печатный орган, взяли бы и заявили в редакцию — дескать, вот какой на вас поклеп. А вы вместо этого даете волю своим рукам: рвете газету и дерете за вихры ни в чем не повинного мальчика двенадцати лет, сына редактора газеты. Как это некультурно у вас получилось. Мне прямо совестно за вас.

Квартирант Ф. говорит:

— За этот мой последний поступок я согласен покраснеть. Но видите, в чем дело. Когда я пришел к редактору и стал просить его поместить опровержение, он мне так сказал: «Я теперь сам вижу, что про тебя стишки неверные. Но ты как-нибудь эту обиду переживи в своей душе. Я опровержение печатать не буду, поскольку это уронит авторитет моей газеты. Вот, скажут, враньем занимаются, а потом дают обратный ход. Ты есть частное лицо, а мы — общественный орган. Мы важней, чем ты. Проглоти обиду и не подымай шуму». И тогда я ни с чем ухожу от этого редактора, а тут его мальчишка еще мне вслед кричит: «Барышень в такси катает, на это у него хватает». Тут маленько я и потрепал его за вихры. Очень извиняюсь.

Председатель говорит редактору:

— Как это, право, нехорошо с вашей стороны не поместить опровержения. Глядите, до чего вы довели этого квартиранта своей сатирой. Глядите, он до сих пор весь дрожит.

Редактор говорит:

— Теперь я сам вижу, что я недоглядел за своим сатириком-людоедом. С тех пор, как мы увеличили ему гонорар, он как с ума сошел. Он согласен своего брата в луже утопить. Я обещаю снова сбавить ему гонорар до десяти копеек за строчку, а то он тут весь дом по ветру пустит.

Председатель говорит:

— Сбавлять не надо, а вы должны с позором выгнать его из газеты, поскольку в газете должны работать только исключительно кристально честные люди. Мы теперь наглядно видим, что один мелкий арап может не только расстроить всех жильцов: он может всех перессорить и всех обозлить... Его мало выгнать, его надо под суд отдать, что я непременно и сделаю. А что касается квартиранта Ф., то его поступок в высшей степени неправильный. Он должен был обжаловать клевету, но он пустился на свою расправу, за что мы присуждаем его к общественному порицанию.

На этом заседание суда кончилось.

Через две недели вышла новая газета с опровержением и с указанием, что поэт-сатирик освобожден от работы.

1938

ВАЛЯ

Давеча еду в трамвае и любуюсь на кондукторшу.

Очень она, вижу, славно и мило ведет свое дело.

Все у нее удивительно хорошо получается. Легко, красиво и так и надо.

Она любезно объявляет станции. Внимательно за всем следит. Со всеми приветливо беседует. Старых поддерживает под локоток. С молодыми острит. Ну прямо любо-дорого на нее глядеть.

И сама она имеет миленькую внешность. Одета чистенько, аккуратно. Глазки у нее сверкают, как звездочки. Сама веселая, смешливая, заботливая. Входит в каждую мелочь, всем интересуется.

Другая кондукторша рычит в ответ, если ее спрашивают, и прямо чуть ногами не отбивается от пассажиров. А эта — нечто поразительное. Ну прямо видим картину из недалекого будущего.

И вот любуюсь я на эту работу, и на душе у меня приветливо становится.

И вижу: все пассажиры тоже исключительно довольные едут. Так на них хорошо и благоприятно действует настоящая, красивая работа.

И уже мне надо сходить, а я все, как дурак, еду и удивляюсь на кондукторшу. И улыбка не сходит с моего лица.

И вижу: со мной рядом сидит пожилая женщина. И она тоже то и дело посматривает на кондукторшу и тоже любуется ею.

Потом вдруг эта женщина обращается ко мне. Она говорит:

— Если я не ошибаюсь, вы тоже в восхищении от работы этой славной кондукторши. Представьте себе, что и я одинаково с вами чувствую. Я не знаю, кто вы, но у меня есть предложение. Давайте как-нибудь отметим поведение этой кондукторши. Давайте занесем похвалу в ее послужной список. Задержимся минут на пять и как-нибудь сообразим, как это сделать, чтоб отметить ее полезную деятельность на транспорте. Для нее это будет поощрение и хорошая память, что вот как ей нужно в дальнейшем поступать.

Я говорю:

— Полностью согласен с вами, мадам. И вполне разделяю ваше решение.

Женщина говорит:

— Что касается меня, то я член райсовета, и к моему заявлению все-таки отнесутся внимательно и не по-казенному.

Я говорю:

— Вот и хорошо. Давайте спросим у кондукторши, как лучше это сделать.

Женщина говорит:

— Нет. Давайте спросим у нее фамилию или ее номер. И давайте прямо в печати выступим с заметкой: дескать, вот какие бывают факты, спасибо, так и надо и прочее.

Женщина встает со своего места и хочет спросить кондукторшу то, что нас интересует. Но в этот момент кондукторша выходит на площадку и там убедительно беседует с одним пассажиром, который едет вместе со своим выпившим приятелем. И вот кондукторша советует пассажиру покрепче держать своего друга, чтоб тот на повороте не нырнул бы на мостовую.

Сделав распоряжение, кондукторша возвращается в вагон, и моя соседка немного дрожащим от волнения голосом просит кондукторшу сообщить свою фамилию, маршрут и служебный номер.

Тут я опомниться не успел, как разразилась гроза.

Милая кондукторша изменилась в лице. Сначала покраснела, потом побелела и вдруг крикнула:

— А тебе на что моя фамилия? Ты что, старая кикимора, не в свое дело нос суешь? Или ты хочешь сказать, что я неправильно сделала, что пьяного в вагон пустила? Так я тебе, старая хрычовка, на это скажу: лучше бы я тебя в вагон не пустила, чем я бы оставила немного выпившего на улице, где он...

Член райсовета, растерявшись, начинает бормотать:

— Видите, мы, собственно говоря...

Я говорю:

— Слушайте, товарищ кондукторша... Вы не поняли нас...

Кондукторша говорит:

— А тебе еще чего надо? Ты-то еще что, арап, суешься? Много вас тут, кровопийц, едет и чуть что — придираются и жалобы строчат. Только все недовольны и недовольны. Только каждый норовит за пятку укусить... Прямо нельзя работать.

Мы с женщиной до того растерялись, что не нашлись даже что-нибудь сказать. Один из пассажиров говорит кондукторше:

— Чего вы понапрасну горячитесь и этим портите свою драгоценную кровь? Вы их не поняли: эти двое, наоборот, хотели вас похвалить, чтобы сделать вам поощрение по службе.

Кондукторша, смутившись, говорит:

— Ах, пожалуйста, извините! Знаете, до того дошло, что каждый пассажир вроде тигра представляется. Каждый норовит устроить неприятность.

Женщина, пожав плечами, говорит:

— Вот теперь я не знаю, как мне поступить. С одной стороны, мне хотелось отметить полезную деятельность на транспорте, а с другой стороны, она на меня накричала и тем самым показала, что у нее еще бывают прорывы.

Женщина вышла из вагона не совсем довольная. Мне было тоже немного досадно, что мы не успели в восторженных тонах отметить в печати полезную деятельность кондукторши.

Фамилию кондукторши я не знаю. На мой вопрос она, мило улыбнувшись, ответила:

— Меня зовут Валя. А фамилию свою я вам не скажу: у меня муж ревнивый.

Так что в этом моем фельетоне я отмечаю полезную деятельность кондукторши без указания фамилии.

Привет, милая Валя! Не все пассажиры — тигры.

1938

РОЗА-МАРИЯ

Задумал один житель села Ф., некто товарищ Лебедев, окрестить своего младенца.

Так-то он шел до сих пор против религии. Он церкви не посещал. Ничего такого церковного не делал. И даже, наоборот, имея передовые взгляды, состоял одно время в кружке безбожников.

Но у него в этом сезоне родилась девочка. И вот ее-то он и задумал окрестить.

Вернее, его жена, эта малодушная мать, подбила его это сделать. И не так даже жена, как ее недальновидные родители дали тон всему делу. Поскольку они начали вякать: ах, дескать, некрасиво, если не крестить, дескать, вдруг она вырастет или, наоборот, умрет и будет некрещеная, что тогда.

Ну, несерьезные разговоры политически отсталых людей.

А Лебедев удивительно не хотел крестить свою девочку. Тем не менее душа у него дрогнула, когда на него насели. И он, имея внутренние противоречия, дал свое согласие. Он им так сказал:

— Ладно. Крестите ее. Только мне бы не хотелось, чтобы вокруг этого вопроса шум стоял. Безусловно, я волен распоряжаться своим мировоззрением. Хочу — крещу, хочу, наоборот,— не крещу. Но все-таки разговоры начнутся, пятоедесятое; дескать, крестил все-таки, собачий нос, обратился, дескать, к услугам церкви, дескать, недаром, скажут, дядя его в мирное время у домовладельца дворником служил.

На это жена ему сказала, что если он сам не надерется по случаю крещения дочери, то никакого шуму не будет стоять около этого вопроса.

И вот родители договорились со священником, чтобы тот им окрестил девочку. И тот за пятерку взялся это сделать и назначил им день и час.

А тем временем родители зарегистрировали своего младенца в загсе под именем Роза, получили там мануфактуру и в определенный день явились в церковь для совершения крещения.

А в тот день там крестили еще одного младенца. И наши, ожидая своей очереди, стояли и глядели, как это происходит.

И сам Лебедев, будучи все-таки настроен против религии и имея, так сказать, критический взгляд на все церковное, не мог, безусловно, стоять

молча. Он не мог инертно стоять. И он все время задирал батюшку своими колкими замечаниями.

И чего батюшка ни сделает, Лебедев на это ехидно улыбается, а то и просто ему что-нибудь под руку говорит. «Ну, загнусил»,— говорит. Или там: «Ну, еще чего придумал...» Или, глядя на рыжеватую растительность батюшки, вдруг говорит: «Ни одного рыжего среди святых не было... А этот рыжий».

Это последнее замечание вызвало смех среди родственников. Так что батюшка даже на минуту прервал крещение и на всех сердито поглядел.

А когда он взялся за лебедевского младенца, то Лебедев отчасти потерял чувство меры и уже начал открыто долбить батюшку своими ехидными замечаниями.

И даже шутливо, правда, сказал:

— Ну, гляди, борода, чтобы ребенок мой не простыл благодаря твоему крещению. А то я тебе прямо храм спалю.

У батюшки даже руки затряслись, когда он это услышал.

Он так сказал Лебедеву:

— Слушайте, я вас не понимаю, если вы пришли сюда меня поддевать, то я на вас удивляюсь. Вы отдаете себе отчет, что получается? В тот момент, когда я держу вашу девочку в руках, заместо очистительной молитвы у меня в душе разгорается против вас злоба и сквернословие, и вот какую путевку в жизнь я даю мысленно вашей девочке. Да, может, теперь ее всю жизнь будет лихорадить, или, наоборот, она станет глухонемая.

Лебедев говорит:

— Ну, если ты мне младенца испортишь, то я тебе все кудри вырву, имей это в виду.

Батюшка говорит:

— Знаешь что. Лучше заверни своего щенка в одеяло и выкатывайся из храма. И я тебе верну пятерку, и мы разойдемся по-хорошему, чем я буду все время такое нахальство слышать.

Тут родственники начали одергивать Лебедева: дескать, заткни, действительно, глотку-то; дескать, обожди, вот выйдешь из храма, и тогда отводи душу; дескать, не задергивай попа, а то он нам, чего доброго, девочку на пол опрокинет. Гляди, у него руки трясутся и колени подгибаются.

И хотя Лебедева раздирали внутренние противоречия, но он сдержался и ничего такого не ответил священнику. Только он ему сказал:

— Ну ладно, ладно, не буду больше. Веди благородней крещение, длинногривый.

Вот батюшка начал произносить церковные слова. Потом, обратившись к Лебедеву, говорит:

— Какое имя мне произносить? Как вы назвали своего ребенка?

Лебедев говорит:

— Мы ее назвали — Роза.

Батюшка говорит:

— То есть сколько хлопот вы мне доставили своим посещением. Мало того, что вы меня поддевали, так теперь выясняется, что вы не то имя дали младенцу. Роза — суть еврейское имя, и под этим именем я ее крестить отказываюсь. Заверните ее в одеяло и идите себе из храма.

Лебедев, растерявшись, говорит:

— Еще того чище. То он на ребенка лихорадку нагоняет, то он вообще отказывается его крестить. А это имя есть от слова «роза», то есть это есть растение, цветок. А другое дело, например, Розалия Семеновна — кассирша из кооператива. Там я не спорю: есть еврейское имя. А тут вы не можете отказываться ее так крестить.

Батюшка говорит:

— Заверните своего ребенка в одеяло. Я его вообще не буду крестить. У меня в святцах нет такого имени.

Родственники говорят священнику:

— Слушайте, мы же его в загсе под этим именем записали. Что вы, ей-богу, горячку разводите.

Лебедев говорит:

— Я же вам говорил. Вот какой это поп. Он против загса идет. И сейчас всем видать, какое у него нахальное политическое мировоззрение.

Поп, видя, что родные не уходят и ребенка не уносят, стал разоблачаться. Он снял свою парчовую ризу. И тут все увидели, что он теперь ходит в штанах и высоких сапогах.

И он в таком богохульном виде подходит к образам и гасит свечи. И хочет выплеснуть воду из купели.

А в храме, между прочим, находилось одно приезжее лицо. Оно прибыло сюда по делам, для проверки кооператива. И теперь оно нарочно, просто так, от нечего делать, зашло в церковь, чтобы посмотреть, что там и как там сейчас бывает.

И теперь это лицо взяло слово и говорит:

— Я хотя стою против обрядов и даже удивляюсь на темноту местных жителей, но раз ребенка уже развернули и родители горят желанием его окрестить, то это надо исполнить во что бы то ни стало. И чтобы выйти из создавшегося положения, я предлагаю вашего ребенка назвать двойным именем. Например: у вас оно Роза, а тут, например, оно пускай Мария. И вместе это дает Роза-Мария. И даже есть такая оперетка, которая нам сигнализирует, что это в Европе бывает.

Поп говорит:

— Двойных имен у меня в святцах нету. И я даже удивляюсь, что вы меня этим собираетесь сбить. Если хотите, я ее Марией назову. Но Роза — я даже мысленно произносить не буду.

Лебедев говорит:

— Ну, пес с ним. Пущай он тогда ее Марией назовет. А после мы разберемся.

Батюшка снова надел свою ризу и быстро, в течение пяти минут, произвел всю церковную операцию.

Лебедев беседовал с приезжим лицом и благодаря этому никаких своих замечаний по поводу действий попа не вставлял. Так что все прошло вполне благополучно.

Но надежды Лебедева — чтобы не было шуму вокруг этого вопроса — не оправдались. Как видите, сия история попала даже в печать.

1938

ПОСЛЕДНЯЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей.

А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, для того чтобы не обидеть оставшихся в живых.

Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и мертвым.

Конечно, сам факт в своем первоначальном смысле ничего комического не имел. Наоборот, умер один человек, один небольшой работник, индивидуально незаметный в блеске наших дней.

И, как это часто бывает, после смерти начались пышные разговоры: дескать, сгорел на своем посту, ах, кого мы потеряли, вот это был человек, какая жалость, друзья, что мы его лишились.

Ну, ясно, конечно, безусловно, при жизни ему ничего такого оригинального никто не говорил, и он, так сказать, отправился в дальний путь, сам того не подозревая, что он собой представляет в фантазии окружающих людей.

Конечно, если бы он не умер, то еще неизвестно, как бы обернулась эта фантазия. Скорей всего, те же окружающие, как говорится, загнули бы ему салазки или показали бы ему кузькину мать и где раки зимуют.

Но поскольку он безропотно умер, то вот оно так и получилось божественно.

С одной стороны, друзья, прелестно умирать, а с другой стороны — мерси, лучше не надо, как-нибудь обойдемся без вашей чувствительной благодарности.

Короче говоря, в том учреждении, где он работал, состоялась после занятий беседа, и на этой беседе вспоминали разные трогательные эпизоды из жизни умершего.

Потом сам директор взял слово. И в силу ораторского искусства он загнул свою речь до того чувствительно, что сам слегка прослезился. И, прослезившись, похвалил умершего сверх всякой меры.

Тут окончательно разыгрались страсти. И каждый наперерыв старался доказать, что он потерял верного друга, сына, брата, отца и учителя.

Из рядов вдруг один пронзительно крикнул, что надо бы захоронение попышней устроить, чтобы другие служащие тоже стремились бы к этому. И, видя это, они, может быть, еще более поднажмут и докажут всем, что они этого заслуживают.

Все сказали: это правильно. И директор сказал: пусть союз на стенку лезет — захоронение будет отнесено на казенный счет.

Тогда встал еще один и сказал, что таких замечательных людей надо, вообще говоря, хоронить с музыкой, а не везти молча по пустынным улицам.

Тут, утирая слезы, встает со своего места родственник этого умершего, его родной племянник, некто Колесников. Он так говорит:

— Боже мой, сколько лет я жил с моим дядей в одной квартире! Не скажу, чтобы мы часто с ним ругались, но все-таки мы жили неровно, поскольку я и не думал, какой у меня дядя. А теперь, когда вы мне об этом говорите, каждое ваше слово, как расплавленный металл, капает на мое сердце. Ах, зачем я не устроил уютную жизнь моему дяде! Теперь это меня будет мучить всю мою жизнь. Нет, я не поленюсь смотаться в одно местечко, где, как мне известно, имеется лучший духовой оркестр из шести труб и одного барабана. И мы пригласим этот оркестр, чтобы он сыграл моему дяде что-нибудь особенное.

И все сказали:

— Правильно, пригласи этот оркестр, и этим ты частично загладишь свое хамское поведение по отношению к своему дяде. Уж, наверно, у вас с ним был ежедневный мордобой, и только тебе неловко нам в этом признаться.

Короче говоря, через два дня состоялось захоронение. Было много венков, масса народу. Музыканты действительно играли недурно и привлекали внимание прохожих, которые то и дело спрашивали: «Кого хоронят?»

Сам племянник этого дяди подошел на ходу к директору и так ему тихо сказал:

— Я пригласил этот оркестр, но они поставили условие — заплатить им сразу после захоронения, поскольку они вскоре уезжают на гастроли в Старую Руссу. Как нам поступить, чтобы заплатить им без особой мотни?

Директор говорит:

— А разве за оркестр не ты будешь платить?

Племянник удивился и даже испугался. Он говорит:

— Вы же сами сказали, что похороны на казенный счет. А я только бегал приглашать оркестр.

Директор говорит:

— Так-то так, но как раз оркестр у нас по смете не предусмотрен. Собственно говоря, умерло маленькое, незначительное лицо, и вдруг мы с бухты-барахты пригласили ему оркестр! Нет, я не могу на это пойти, мне союз за это холку намнет.

Которые шли с директором, те тоже сказали:

— В конце концов, учреждение не может платить за каждого скончавшегося. Еще скажи спасибо, что заплатили за грузовик и за всякую похоронную муру. А за оркестр сам плати, раз это твой дядя.

Племянник говорит:

— Что вы — опухли, откуда я двести рублей возьму?

Директор говорит:

— Тогда сложись вместе со своими родственниками и как-нибудь вывернись из беды.

Племянник, сам не свой, подбежал на ходу к вдове и доложил ей, что происходит.

Вдова еще больше зарыдала и отказалась что-либо платить.

Колесников пробился сквозь толпу к оркестру и сказал им, чтобы они перестали дудить в свои трубы, поскольку дело запуталось и теперь неизвестно, кто будет платить.

В рядах оркестрантов, которые шли строем, произошло некоторое замешательство. Главный из них, который махал рукой и бил в медные тарелки, сказал, что он это предчувствовал. Он сказал:

— Музыку мы не прекратим, а доиграем до

конца и через суд потребуем деньги с того, кто сделал заказ.

Тогда Колесников снова на ходу пробился к директору, но тот, предвидя неприятности, сел в машину и молча отбыл.

Беготня и суетня вызвали удивление в рядах процессии. Отъезд директора и громкое стенание вдовы еще того более поразили всех присутствующих. Начались разговоры, расспросы и шептанья, тем более что кто-то пустил слух, будто директора срочно вызвали по вопросу о сокращении штатов в их учреждении.

В общем, к кладбищу подошли в полном беспорядке. Само захоронение состоялось в крайне быстром темпе и без речей. И все разошлись не особенно довольные. И некоторые бранили умершего, вспоминая из его мелкой жизни то одно, то другое.

На другой день племянник умершего дяди до того нажал на директора, что тот обещал согласовать вопрос с союзом. Но при этом сказал, что дело вряд ли пройдет, так как задача союза — заботиться о живых, а не валандаться с мертвыми.

Так или иначе, Колесников пока что продал свое драповое пальто, чтобы отвязаться от оркестрантов, которые действительно ни перед чем не остановились бы, чтобы получить свои пречистые.

Свое пальто племянник загнал за 260 руб. Так что после расплаты с оркестром у него остался навар — 60 монет. На эти деньги племянник своего дяди пьет третий день. И это обстоятельство сигнализирует нам, что учреждение во главе с директором оказалось не на высоте.

Будучи выпивши, племянник этого дяди пришел ко мне и, утирая рукавом слезы, рассказал мне об этой своей мелкой неприятности, которая для него была, наверно, далеко не последней.

Для дяди же эта мелкая неприятность была последней.

1938

КОЧЕРГА

Забавное происшествие случилось минувшей зимой в одном учреждении.

Надо сказать, что это учреждение занимало небольшой отдельный дом. Причем дом был старинной постройки. Обыкновенные вульгарные печи отапливали это здание.

Специальный человек — истопник — наблюдал за печами. Он меланхолично ходил со своей кочергой из этажа в этаж, шевелил дрова, разбивал головешки, закрывал трубы и так далее, все в этом духе.

При современной технике, при водяном и паровом отоплении картинка эта была, можно сказать, почти что неприличная, древняя картинка, рисующая варварский быт наших предков.

В этом году, в феврале, истопник, спускаясь по лестнице, слегка обжег кочергой одну служащую, Надю Р. Причем служащая эта была отчасти сама виновата. Она вихрем неслась по лестнице и сама наскочила на истопника. На ходу она отстранила его рукой и, по несчастной случайности, наткнулась на кочергу, которая была довольно-таки горяча, если не сказать — раскалена.

Девушка ахнула и закричала. И истопник тоже ахнул. В общем, ладонь и пальцы этой суетливой девушки были слегка обожжены.

Конечно, случай этот мелкий, пустой, недостойный попасть на страницы художественной литературы. Однако неожиданные последствия этого дела были весьма забавны. И они-то и настроили нас на этот маленький рассказ.

Директор учреждения вызвал к себе истопника и сделал ему строгое внушение. Он сказал:

— Тоже, ходишь со своей кочергой — выводишь мне из строя служащих. Надо не зевать по сторонам, а глядеть то, что видишь.

Истопник, сокрушенно вздыхая, ответил, что у него на шесть печей всего одна кочерга, с которой он и ходит то туда, то сюда. Вот если бы на каждую печку была отдельная кочерга, вот тогда бы и можно придираться. А при таких обстоятельствах он не может гарантировать неприкосновенность служащих.

Эта простая мысль — иметь кочергу на каждую печку — понравилась директору. И он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требование на склад. Шагая по комнате, директор диктовал:

«Имея шесть печей при наличии одной кочерги, немыслимо предохранить служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования пять коче...»

Но тут директор осекся. Он перестал диктовать и, почесавши затылок, сказал машинистке:

— Что за черт. Не помню, как пишется — пять коче... Три кочерги — ясно. Четыре кочерги — тоже понятно. А пять? Пять — чего? Пять кочерги...

Молоденькая машинистка, пожав плечами, сказала, что она вообще впервые слышит это слово и, уж во всяком случае, в школе ей не приходилось склонять что-либо подобное.

Директор позвал своего секретаря и, смущенно улыбаясь, рассказал ему о своем затруднении.

Секретарь тотчас стал склонять это слово. Кто, что?— кочерга... Кого, чего?— кочерги... Кому, чему?— кочерге... Но, дойдя до множественного числа, секретарь запнулся и сказал, что множественное число вертится у него в голове, но он сейчас не может его вспомнить.

Тогда опросили еще двух служащих, но и те не внесли ясности в это дело.

Секретарь сказал:

— Есть отличный выход. Напишем на склад два требования — на три кочерги и на две кочерги. Итого получим пять.

Директор нашел это неудобным. Он сказал, что посылать две одинаковые бумажки — это разводить канцелярщину. Найдутся пройдохи, которые при случае уколют его этим. Лучше уж, если на то пошло, позвонить в Академию наук и у них запросить, как пишется пять коче...

Уже секретарь хотел звонить в Академию, но директор в последний момент не позволил ему это сделать. Еще, чего доброго, попадется какой-нибудь смешливый ученый, который напишет фельетон в газету — дескать, директор малограмот-

ный, дескать, тревожат научное учреждение такой чепухой. Нет, уж лучше обойтись своими средствами. Хорошо бы еще раз позвать истопника, чтоб услышать это слово из его уст. Все-таки человек всю жизнь вращается у печей. Уж кому-кому, а ему-то известно, как произнести пять коче...

Тотчас снова позвали истопника и стали его наводящими вопросами наталкивать на нужный ответ.

Истопник, предполагая, что его опять будут жучить, отвечал на все вопросы хмуро и односложно. Он бормотал: дескать, нужно пять штук, тогда, дескать, еще можно оберечься. А иначе пущай отдают его под суд.

Потеряв терпение, директор прямолинейно спросил истопника, что ему нужно.

— Сами знаете что,— угрюмо ответил истопник.

Но тут, под давлением секретаря и директора, истопник наконец произнес искомое слово. Однако это слово в устах истопника звучало не так, как ожидалось, что-то вроде — «пять кочерыжек».

Тогда секретарь смотался в юридический отдел и оттуда привел служащего, который отличался тем, что умел составлять любые бумаги так ловко, что обходил все подводные камни.

Служащему разъяснили его задачу — составить нужное требование таким образом, чтобы слово «кочерга» не упоминалось во множественном числе и вместе с тем, чтобы склад выдал пять штук.

Немного покусав карандаш, служащий набросал черновик:

«До сего времени наше учреждение, имея шесть печей, обходилось всего лишь одной кочергой. В силу этого просьба выдать еще пять штук, для того чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная кочерга. Итого выдать — пять штук».

Уже эту бумажку хотели послать на склад, но тут к директору явилась машинистка и сказала, что она сейчас звонила своей мамаше, старой машинистке с тридцатилетним стажем. И та ее заверила, что нужно писать: пять кочерег. Или пять кочерг.

Секретарь сказал:

— Я так и думал. Только на меня нашло затмение.

Тотчас бумажка была составлена и послана на склад.

Самое смешное из всей этой истории это то, что вскоре бумажка была возвращена назад с резолюцией заведующего складом: «Отказать за неимением на складе кочережек».

Уже наступила весна. Потом будет лето. До зимы далеко. Об отоплении думать пока что не приходится. Весной хорошо думать о грамотности, хотя бы в связи с весенними испытаниями в средней школе. Что же касается данного слова, то слово действительно каверзное, доступное Академии наук и машинистке с тридцатилетним стажем.

В общем, надо поскорей переходить на паровое отопление.

1939

ИСПЫТАНИЕ

Жила в нашем доме одна семья: муж, жена и сынок, парнишка лет двенадцати. Муж работал на производстве. Жена заботилась о хозяйстве. А ребенок посещал школу.

И все шло чудесно.

Выходной день — вылазка за город с ребенком впереди. Вечером — культпоход в кино или к зубному врачу. Регулярное посещение бани. И так далее.

Дружная, тихая семья, без претензии на что-нибудь особенное.

В один прекрасный день муж поднимается по лестнице, чтоб проследовать в свою квартиру после трудового дня. И вдруг видит: идет по той же лестнице молоденькая особа. Очень миленькая. Довольно нарядная. С цветком на груди.

Увидев ее, наш муж немножко даже задрожал, поскольку она уж очень ему понравилась.

А она кокетливо улыбнулась и вспорхнула этажом выше.

Вот проходит месяц. И наш муж снова встречает сию гражданку на той же самой лестнице.

Происходят взгляды, улыбки. И завязывается первый разговор, из которого выясняется, что молодая особа живет здесь со своей мамой. Ей девятнадцать лет. У нее, как говорится, своя дорога — учеба в школе кройки и шитья.

Да, конечно, она своей судьбой довольна. Но не очень, поскольку все еще впереди.

И вот проходит еще месяц, и наш муж начинает ее усердно посещать. Он заходит к ней в гости. Беседует на разные темы с ней и с ее мамой. И делается там как бы своим человеком.

Он, короче говоря, влюбился в нее. И, будучи решительным человеком, приходит к мысли о необходимости полной перемены жизни.

И вот — разговор со своей женой, слезы и стенанья. И наконец наш муж перебирается этажом выше.

Он поступает до некоторой степени благородно: все оставляет своей семье. И только лишь берет с собой чемодан с бельем и носильными вещами.

Он обещает выплачивать им треть жалованья, но это не уменьшает страдания жены. И там происходят обмороки, рыдания и слезы. Печальная картина развала и крушения семьи.

Но жребий брошен. Мосты позади сожжены. И наш влюбленный муж, как говорится, вкушает счастье со своей особой.

Но он недолго вкушает счастье. Он младший командир запаса. Его мобилизуют в Красную Армию и в декабре тридцать девятого года направляют на Карельский перешеек.

И он уезжает, нежно простившись со своей плачущей Ритой.

Он пишет ей с фронта короткие письма, в которых описывает суровую боевую жизнь, жестокие бои и адские морозы. Его письма полны решимости и отваги. Это не мямля и не слюнтяй пишет с фронта. Это пишет отважный младший командир запаса, для которого долг выше личного счастья.

Но вот письма приходят все реже и реже и наконец совсем прекращаются. И Рита не пони-

мает, что это значит. Уже март, конец войны. А писем нет.

И вот однажды приходит письмецо. И Рита, прочитав его, лишается чувств.

Она падает в обморок. Ее опрыскивают водой, чтоб она пришла в себя. И, придя в себя, она зачитывает мамаше письмецо, в котором говорится: «Милая Рита, я получил ранение. Я потерял ногу. Я теперь инвалид и калека. Отпиши подробно, согласна ли взять меня или мне лучше находиться на государственном обеспечении».

Целый день мама с дочкой обсуждают положение. И наконец ему пишется ответ, полный жалости и участия, но вместе с тем говорится, что не так-то просто его взять. Кто же за ним будет ходить? Не может же она, молодая женщина, едва вступившая в свет, посвятить ему свою жизнь. Надо это дело хорошенько обдумать. Тем более государство теперь обязано за ним последить.

Но вот проходит некоторое время, и его первая жена, Анна Степановна, тоже получает такое же письмо. «Да,— пишет он,— милая Аня, теперь я калека. Ответь, возьмешь ли ты меня такого».

Как бомба разрывается в квартире по получении сего письма.

Но в тот же день бывшая жена ему пишет: «Милый друг, Иван Николаевич, горько плачу о твоем ранении. Видно, уж суждено нам жить с тобой вместе. Зачем ты спрашиваешь — возьму ли я тебя к себе? Отпиши немедленно, куда за тобой приехать. Я буду работать. А там наш Петюшка подрастет, и все будет в лучшем виде».

Но вот проходит несколько дней. И вот — что это? К воротам подъезжает машина. И из нее выходит Иван Николаевич. Он цел и невредим. Ноги у него на месте. И на груди у него сверкает новенький орден.

Все жильцы, находящиеся в этот момент во дворе, раскрывают свои рты от изумления.

Управдом подбегает к нему и говорит:

— Как понять это, Иван Николаевич? Судя по письму, мы думали, что вы в другом виде.

Приехавший берет управдома под руку и говорит ему:

— Любезный друг! Конечно, я поступил, видимо, неправильно, жестоко и так далее. Но суровая жизнь заставила меня задуматься. Я подумал: ничего, если меня убьют, но если я потеряю руки или ноги, что будет со мной? Я живо представил себе эту картину и в тот момент решил сделать то, что я сделал. И в этом не раскаиваюсь, потому что теперь знаю, с кем надо жить, ибо брак — это не только развлечение.

Управдом говорит:

— Конечно, вы немного перегнули в своем испытании. Это, как говорится, запрещенный прием. Но раз сделано, так сделано. От души поздравляем вас с орденом Красного Знамени.

Тут наш муж поднимается в свой этаж, к первой своей жене, Анне Степановне. И что там происходит в первые пять минут, остается неизвестным.

Известно только, что сын Петюшка по собственной инициативе бежит в верхний этаж и вскоре оттуда приносит папин чемодан с бельем и носильными вещами.

В тот же день Иван Николаевич объясняется с Ритой. Он просит у нее прощения и целует ее руки, говоря, что он вернулся другим человеком и что к прошлому нет возврата.

Они расстаются скорее дружески, чем враждебно. Конечно, молодая женщина досадует на него. Но досада ее умеренна, ибо за время отсутствия мужа ей понравился другой человек. И теперь она рассчитывает выйти за него замуж.

1940

РОГУЛЬКА

Утром над нашим пароходом стали кружиться самолеты противника.

Первые шесть бомб упали в воду. Седьмая бомба попала в корму. И наш пароход загорелся.

И тогда все пассажиры стали кидаться в воду.

Не помню, на что я рассчитывал, когда бросился за борт, не умея плавать. Но я тоже бросился в воду. И сразу погрузился на дно.

Не знаю, какие там бывают у вас химические или физические законы, но только при полном неумении плавать я выплыл наружу.

Выплыл наружу и сразу же ухватился рукой за какую-то рогульку, которая торчала из-под воды.

Держусь за эту рогульку и уже не выпускаю ее из рук. Благословляю небо, что остался в живых и что в море понатыканы такие рогульки для указания мели и так далее.

Вот держусь за эту рогульку и вдруг вижу — кто-то еще подплывает ко мне. Вижу — какой-то штатский вроде меня. Прилично одетый — в пиджаке песочного цвета и в длинных брюках.

Я показал ему на рогульку. И он тоже ухватился за нее.

И вот мы держимся за эту рогульку. И молчим. Потому что говорить не о чем.

Впрочем, я его спросил — где он служит, но он ничего не ответил. Он только выплюнул воду изо рта и пожал плечами. И тогда я понял всю нетактичность моего вопроса, заданного в воде.

И хотя меня интересовало знать — с учреждением ли он плыл на пароходе, как я, или один,— тем не менее я не спросил его об этом.

Но вот держимся мы за эту рогульку и молчим. Час молчим. Три часа ничего не говорим. Наконец мой собеседник произносит:

— Катер идет...

Действительно, видим: идет спасательный катер и подбирает людей, которые еще держатся на воде.

Стали мы с моим собеседником кричать, махать руками, чтоб с катера нас заметили. Но нас почему-то не замечают. И не подплывают к нам.

Тогда я скинул с себя пиджак и рубашку и стал махать этой рубашкой: дескать, вот мы тут, сюда, будьте любезны, подъезжайте.

Но катер не подъезжает.

Из последних сил я машу рубашкой: дескать, войдите в положение, погибаем, спасите наши души.

Наконец с катера кто-то высовывается и кричит нам в рупор:

— Эй вы, трамтарарам, за что, обалдели, держитесь — за мину!

Мой собеседник как услышал эти слова, так сразу шарахнулся в сторону. И, гляжу, поплыл к катеру...

Инстинктивно я тоже выпустил из рук рогульку. Но как только выпустил, так сразу же с головкой погрузился в воду.

Снова ухватился за рогульку и уже не выпускаю ее из рук.

С катера в рупор кричат:

— Эй ты, трамтарарам, не трогай мину!

— Братцы, кричу, без мины я как без рук! Потону же сразу! Войдите в положение! Плывите сюда, будьте так великодушны!

В рупор кричат:

— Не можем подплыть, дура-голова,— подорвемся на мине. Плыви сюда. Или мы уйдем сию минуту.

Думаю: «Хорошенькое дело — плыть при полном неумении плавать». И сам держусь за рогульку так, что даже при желании меня не оторвать.

Кричу:

— Братцы, моряки! Уважаемые флотские товарищи! Придумайте что-нибудь для спасения ценной человеческой жизни!

Тут кто-то из команды кидает мне канат. При этом в рупор и без рупора кричат:

— Не вертись, чтоб ты сдох, взорвется мина!

Думаю: «Сами нервируют криками. Лучше бы, думаю, я не знал, что это мина, я бы вел себя ровней. А тут, конечно, дергаюсь — боюсь. И мины боюсь, и без мины еще того больше боюсь».

Наконец ухватился за канат. Осторожно обвязал себя за пояс.

Кричу:

— Тяните, ну вас к черту... Орут, орут, прямо надоело...

Стали они меня тянуть. Вижу, канат не помогает. Вижу — вместе с канатом, вопреки своему желанию, опускаюсь на дно.

Уже ручками достаю морское дно. Вдруг чувствую — тянут кверху, поднимают.

Вытянули на поверхность. Ругают — сил нет. Уже без рупора кричат:

— С одного тебя такая длинная канитель, чтоб ты сдох... Хватаешься за мину во время войны... Вдобавок не можешь плыть... Лучше бы ты взорвался на этой мине — обезвредил бы ее и себя...

Конечно, молчу. Ничего им не отвечаю. Поскольку — что можно ответить людям, которые меня спасли. Тем более сам чувствую свою недоразвитость в вопросах войны, недопонимание техники, неумение отличить простую рогульку от бог знает чего.

Вытащили они меня на борт. Лежу. Обступили.

Вижу — и собеседник мой тут. И тоже меня отчитывает, бранится — зачем, дескать, я указал ему схватиться за мину. Дескать, это морское хулиганство с моей стороны. Дескать, за это надо посылать на подводные работы от трех до пяти лет. Собеседнику я тоже ничего не ответил, поскольку у меня испортилось настроение, когда я вдруг обнаружил, что нет со мной рубашки. Пиджак тут, при мне, а рубашки нету.

Хотел попросить капитана — сделать круг на ихнем катере, чтоб осмотреться, где моя рубашка, нет ли ее на воде. Но, увидев суровое лицо капитана, не решился его об этом просить.

Скорей всего рубашку я на мине оставил. Если это так, то, конечно, пропала моя рубашка.

После спасения я дал себе торжественное обещание изучить военное дело. Иначе нельзя. Отставать от других в этих вопросах не полагается.

1943

ФОТОКАРТОЧКА

В этом году мне понадобилась фотокарточка для пропуска. Не знаю, как в других городах, а у нас на периферии засняться на карточку не является простым, обыкновенным делом.

У нас имеется одна художественная фотография. Но она помимо отдельных граждан снимает еще группы и мероприятия. И, может быть, поэтому слишком долго приходится ждать получения своих заказов.

Так что, являясь скорее отдельным лицом, чем группой или мероприятием, я побеспокоился заранее и заснялся за два месяца до срока.

Когда мне подали мои фотокарточки, я удивился, как непохоже я вышел. Передо мной был престарелый субъект совершенно неинтересной наружности.

Я сказал той, которая подала мне карточки:

— Зачем же вы так людей снимаете? Глядите, какие полосы и морщины проходят сквозь все лицо.

Та говорит:

— Обыкновенно снято. Только надо учесть, что у нас ретушер на бюллетене. Некому замазывать дефекты вашей нефотогеничной наружности.

Фотограф, находясь за портьерой, говорит:

— А чем он там еще, нахал, недоволен?

Я говорю:

— Неважно сняли, уважаемый. Изуродовали. Разве ж я такой?

Фотограф говорит:

— Я опереточных артистов снимаю, и то они настолько не обижаются. А тут нашелся один такой — морщин ему много... Объектив берет слишком резко, рельефно... Не знаете техники, а тоже суетесь быть критиком.

Я говорю:

— На что ж мне рельеф на моем лице — войдите в положение. Мне бы, говорю, просто сняться, как я есть. Чтоб было на что глядеть.

Фотограф говорит:

— Ах, ему еще глядеть нужно. Его же сняли, и он еще на это глядеть хочет. Капризничает в такое время. Дефекты видит... нет, я жалею, что я вас так прилично снял. В другой раз я вас так сниму, что вы со стоном на карточки взглянете.

Нет, я не стал с ним спорить. Неважно, думаю, какая карточка на пропуске. И так все видят, какой я есть.

И с этими мыслями являюсь в отделение. Сер-

жант милиции стал лепить карточку на мой пропуск. После говорит:

— По-моему, на карточке это не вы.

— Где же, говорю, не я. Уверяю вас, это я. Спросите фотографа. Он подтвердит.

Сержант говорит:

— Всякий раз фотографа спрашивать, это что и будет. Нет, я хочу на карточке видеть данное лицо, без вызова фотографа. А тут я наблюдаю совсем не то. Какой-то больной сыпным тифом. Даже щек нет. Пойдите переснимитесь.

— Товарищ, говорю, начальник, войдите в положение...

— Нет, нет, говорит, и слышать ничего не хочу. Переснимитесь.

Бегу в фотографию. Говорю фотографу:

— Видите, как слабо снимаете. Не наклеивают вашу продукцию.

Фотограф говорит:

— Продукция самая нормальная. Но, конечно, надо учесть, что для вас мы не засветили полную иллюминацию. Снимали при одной лампочке. И через это тени упали на ваше лицо, затемнили его. Однако не настолько они его затемнили, чтоб ничего не видеть. Эвон как уши у вас прилично вышли.

— Ну хорошо, говорю, уши. А щеки, говорю, где? Уж щеки-то, говорю, должны быть как принадлежность человеческого лица.

Фотограф говорит:

— Не знаю. Ваших щек мы не трогали. У нас свои есть.

— Тогда, говорю, где же они, мои щеки? Я, говорю, две недели провел в доме отдыха. Четыре кило веса прибавил. А вы тут одной своей съемкой черт знает что со мной сделали.

Фотограф говорит:

— Да что, я себе взял ваши щеки, что ли? Кажется, вам ясно говорят — затемнение упало на них. И через это они не получились.

Я говорю:

— А как же тогда без щек?

— А, говорит, как хотите. Переснимать не буду. Всех переснимать — это я премии лишусь и плана не выполню. А мне план дороже вашей нефотогеничной наружности.

Посетители говорят мне:

— Не нервируйте фотографа. А то он еще хуже будет людей снимать.

Один из посетителей говорит мне:

— Уважаемый, бегите на рынок. Там фотограф «Пушкой» снимает.

Бегу на рынок. Нахожу фотографа. Тот говорит:

— Нет, я снимаю только со своей бумагой. Без бумаги лучше не являйтесь ко мне, все равно снимать не буду. А с бумагой сниму. И если у вас есть перина — тоже сниму. Ко мне тетя из Барнаула приехала — ей спать не на чем.

Я было хотел уйти, но тут слышу, какой-то продавец меня к себе кличет. Говорит:

— Давай подходи к моему магазину. Имею готовую продукцию.

Смотрю, у него на газете разложены всякие разные готовые фотографии. Их штук триста.

Продавец говорит:

— Выбирай себе любую и делай с ней что хочешь. Хоть на лоб себе наклеивай. Погоди, я тебе сам подберу. Тебе как — по размеру или по сходству?

— По сходству, говорю. Только, говорю, выбирай такую, чтоб щеки были.

Тот говорит:

— Можно и со щеками. Но только они будут дороже на пять рублей. На, прими вот эту фотокарточку. Лучше ее не найти. И щеки есть, и нельзя сказать, чтоб сходство начисто отсутствовало.

Я заплатил тридцать рублей за две фотокарточки и пошел в отделение.

Сержант милиции стал лепить мою карточку. После говорит:

— Так ведь это ж баба.

— Где же, говорю, баба. Мужчина в пиджаке.

Сержант говорит:

— Где же, к черту, мужчина, если у него на груди брошка. Через эту брошку я и замечаю, что это баба.

Поглядел я на фотокарточку — вижу, действительно женщина. Маркизетовая кофточка под пиджаком. На груди брошка с пейзажем. А прическа мужская. И щеки мои.

Сержант говорит:

— Явитесь сюда с настоящими карточками. Но если вы еще раз предъявите мне женскую или детскую фотокарточку, то вряд ли отсюда выйдете, поскольку у меня мелькают подозрения, что вы хотите скрыться под чужой наружностью.

Целую неделю я провел как в тумане. Хлопотал, где бы сняться. На восьмой день, беседуя с фотографом, я почувствовал себя худо. И тогда они вынесли меня в сад и положили на траву, чтоб там меня овеял свежий воздух. Придя в себя, я пошел в отделение. Положил на стол свои первые фотокарточки без щек и сказал сержанту:

— Вот все, что я имею, товарищ начальник. И больше ничего не предвидится.

Сержант поглядел на карточки, потом на меня и говорит:

— Вот теперь ничего себе получилось. Похожи.

Я хотел сказать, что я и не переснимался вовсе. После взглянул на себя в зеркало — действительно, вижу, есть теперь некоторое сходство. Получилось.

Сержант говорит:

— И хотя на карточке вы немного более облезлый, чем на самом деле, но, говорит, я так думаю, что через год вы сравняетесь.

Я говорю:

— Я раньше сравняюсь, поскольку мне нужно еще сниматься для проездного документа, для членского билета и для посылки фотокарточки моим родственникам.

Тут сержант наклеил мою фотокарточку и горячо поздравил меня с получением пропуска.

1945

ХОРОШАЯ ИГРА

Вот что случилось со мной в день Первого мая.

Я шел по дорожке Летнего сада. Внезапно услышал детские голоса. Какие-то ребята пронзи-

тельно мне кричали, показывая пальцами на мои ноги:

— Дяденька, дяденька, гляди, у тебя тесемки висят, сапог расшнуровался.

Я посмотрел на свои сапоги. Действительно, один мой ботинок слегка расшнуровался.

Поблагодарив ребят, я присел на их скамейку и стал поправлять шнурки. Один из ребят, видимо самый главный и старший из их компании, подросток лет тринадцати, заломив на затылок свою зимнюю шапку-ушанку, сказал мне с солидностью взрослого человека:

— Хорошо, что мы вовремя заметили вашу неисправность. Вы, гражданин, непременно оборвали бы ваши шнурки, если бы наступили на них ногой. И понесли бы при этом лишний расход.

Я еще раз поблагодарил ребят и с удивлением на них посмотрел. Их было около дюжины. Они сидели, буквально облепив скамейку. Неожиданно они заволновались, зашептались и вдруг крикнули какой-то женщине, которая встала со скамейки напротив:

— Тетенька, тетенька, книжку забыли!

Посмотрев на ребят, женщина вернулась к своей скамейке и, взяв книгу, ушла.

Еще с большим удивлением я стал смотреть на ребят. Увидев мой взгляд, подросток в ушанке сказал мне:

— Нет, это у нас такая игра. На первое апреля люди обыкновенно обманывают друг друга. Нарочно говорят: «Гляди, у тебя нос в чернилах» или: «Гляди, деньги из кармана упали». И потом хохочут. А на Первое мая мы решили наоборот. На Первое мая мы никого не обманываем. И делаем самые хорошие и героические дела. Потому что это Первое мая.

На дорожке сада показался прохожий. Он был слегка навеселе. Шагал нетвердо. И помахивал рукой в такт мелодии, какую он тихонько напевал себе под нос.

Мои ребята гаркнули ему, и так громко, что я чуть не оглох:

— Эй, дяденька, гляди, у тебя вся спина в известке!

Действительно, спина прохожего, да и не только спина, но и штаны, и бок, и кепка были замазаны чем-то белым.

Взглянув на ребят, прохожий, хитро улыбаясь, стал грозить им пальцем, дескать, ладно, не обманете, не проведете.

— Нет, правда, честное слово, спина у вас в известке!— закричали дети.

Прохожий сделал неудачную попытку взглянуть на свою спину. Для этого он раза три повернулся вокруг своей шаткой оси. И, не добившись желаемого, снова погрозил ребятам пальцем и побрел дальше.

Подросток в ушанке сказал ребятам:

— А ну-ка, друзья, побегите до него. Почистите ему спину. Быстро!

Два малыша, сорвавшись со скамейки, бросились вслед за прохожим. Но тот, ожидая от ребят, должно быть, какого-нибудь подвоха, усилил шаг. И, отмахиваясь от ребят рукой и чертыхаясь, удалился.

Ребята вернулись к своей скамейке. Подросток в ушанке сказал:

— Нет, взрослые еще не привыкли к этому. Всегда с ними какая-нибудь канитель. Заместо спасибо они в другой раз только лишь ругаются.

Кивнув в мою сторону, подросток продолжил свою мысль:

— Не все, конечно, ругаются. Некоторые из них замечают свою пользу. И нам же говорят спасибо.

Какая-то немолодая женщина проходила в это время мимо нас по дорожке сада. Посмотрев на ребят, она вздохнула. Видимо, ей хотелось посидеть на солнышке. Но ребята не заметили ее намерений. И тогда она, обернувшись, сказала:

— Потеснитесь немножко, деточки, а?

Подросток скомандовал:

— Очистить скамью для бабушки. Живо!

Три малыша, покорно соскочив со скамейки, сели на песок.

Я сказал, обращаясь более к подростку, чем к остальным:

— Ребята, а ведь вы это здорово придумали. Ведь это отличная игра — делать только хорошие, и, как вы говорите, героические дела в день Первого мая. Это прямо, доложу я вам, замечательно. Но только, между нами говоря,— ведь это надо всякий день так поступать, а не только в день Первого мая.

Подросток сказал:

— Нет, всякий день нельзя. Это голова заболит — за всем следить и все замечать.

Обратившись к ребятам, подросток сказал:

— Пошли на улицу. Здесь больше делать нечего.

Ребята вспорхнули, как воробьи. И ушли. А я долго сидел на скамейке и думал об этой славной детской игре — делать только «хорошее и героическое» в день Первого мая. И мне почему-то показалось, что в дальнейшем все ребята нашей страны будут так же поступать.

Что касается взрослых, то со взрослыми, пожалуй, будет некоторая «канитель». Пожалуй, взрослые скажут: «Да что вы, в самом деле! И так-то нам хватает всяких дел. А вы тут еще втягиваете нас в какие-то детские забавы».

Это верно, взрослые на войне и без того зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Но, может быть, в порядке любопытства, они когда-нибудь в дальнейшем примкнут и к этому детскому движению.

И тогда не только на войне будут одержаны блестящие победы.

1945

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

На лето я отдала своего сына в пионерский лагерь. И в воскресенье поехала навестить его.

В вагоне разговорилась со своей соседкой, у которой было множество всяких свертков и пакетов. Оказалось, что и она ехала в тот же лагерь повидать своего сынишку.

Среди пассажиров имелись еще родители, ехавшие туда же. Так что мы, приехав, объединились на вокзале в одну родительскую группу и в количестве семи человек пошли к лагерю через парк.

На полянке за парком мы увидели какой-то большой отряд детворы. Ребята стояли в рядах и слушали то, что им говорила воспитательница.

Мы прошли было мимо, но вдруг услышали слова воспитательницы. Обращаясь к детям, она сказала:

— Ребята, ко многим из вас сегодня приедут родители. Очень прошу вас — не позволяйте им совершать какие-нибудь неосторожные поступки.

Мы, родители, с недоумением переглянулись.

Один из малышей, обращаясь к своей воспитательнице, сказал:

— Софья Андреевна, а если мой папа опять мне скажет: пойдем купаться? Что тогда?

Воспитательница сказала:

— Гриша, в прошлое воскресенье ты чуть не заболел воспалением легких. И если твой папа снова поведет тебя к реке, ты скажи ему: «Папочка, дорогой, купайся сам, если хочешь, но лично я в холодную воду не полезу». Так и скажи ему. И скажи твердо, чтоб он запомнил это и не совал бы тебя в воду, температура которой не достигла шестнадцати градусов.

Мы, родители, снова переглянулись. Воспитательница сказала:

— В общем, ребята, я сегодня всецело полагаюсь на ваше благоразумие. И я буду надеяться, что вы всякий раз остановите своих родителей, если увидите, что они поступают легкомысленно или не по правилам.

Мы подошли к воспитательнице и сказали ей:

— Вот как раз мы — родители. Случайно проходили мимо и услышали то, что вы сказали детям. Как понять нам ваши слова относительно родителей?

Воспитательница сказала нам:

— Видите ли, в чем дело. Шесть дней в неделю у нас в лагере мир и тишина. А по воскресеньям происходит нечто вроде землетрясения. Одна мать везет сюда пирог с капустой и целиком оставляет его своему ребенку. Другая привозит кило конфет. Третья — чуть не целый окорок. А дети есть дети. Они не знают меры. Они совершенно сыты, тем не менее они начинают жевать то, что им привозят родители. В результате — хворают. Каждый понедельник у меня в отряде минимум пятнадцать заболевших.

Мы, родители, сконфуженно переглянулись. Воспитательница, строго посмотрев на нас, сказала:

— Но это еще не все! Я попрошу вас взглянуть на малышей, пострадавших в то воскресенье...

Тут воспитательница, обратившись к ребятам, сказала:

— Вовочка Басов, выйди, милый, вперед...

Из рядов вышел мальчишечка лет семи. Ласково поглаживая его голову, воспитательница сказала:

— Малыш понятия не имеет, что такое рыбная ловля. Тем не менее его мама привезла ему удочку с крючком. Он без спросу побежал к реке и там закинул удочку таким образом, что сразу сам попал на крючок... Взгляните на его щеку...

Мы осмотрели маленького рыболова. На его щеке была изрядная царапина.

Воспитательница сказала:

— Теперь выйди вперед, Коля Шагалов... Покажи родителям свою руку...

Вышел парнишка лет одиннадцати и показал нам свою руку, на которой была какая-то краснота.

Воспитательница, вздохнув, сказала:

— Пугач и двести патронов привезли ему родители! С патронами он стал шалить, и в результате — ожог руки. Я еще удивляюсь, как мы все не взлетели на воздух от такого количества патронов!

Мы сказали воспитательнице:

— Не все же родители таковы!

Она ответила нам:

— И я далеко не о всех говорю. Многие и многие родители отлично воспитывают своих детей, но после долгой разлуки с ними они приезжают сюда настолько чувствительные, что позволяют им все, что они пожелают. Катюша Савченко, выйди вперед... Доложи нам, сколько ты съела мороженого в то воскресенье...

Вышла восьмилетняя девчурка и, улыбаясь, сказала:

— Мама съела две порции, а я съела шесть. Седьмую я положила на минутку под подушку, но оно у меня растаяло.

Тут все ребята засмеялись. А воспитательница, подарив свою улыбку, сказала нам:

— Так вот и ответьте мне — могу ли я быть спокойной, когда приезжают родители после разлуки со своим ребенком? Нет, у меня сердце болит за каждого малыша, которого уводят с территории лагеря! И вот поэтому я и просила ребят по возможности остерегать своих родителей от неосторожных поступков!

Сконфуженно потоптавшись и поговорив о том о сем, мы, родители, пошли дальше.

Некоторое время шли молча. Потом один молодой отец сказал:

— А ведь она правильно критиковала нас. Например, своего сорванца я очень хотел сегодня побаловать. И вот купил ему духовое ружье, которое стреляет деревянной пулькой метров на двадцать пять. Но теперь это ружье я, пожалуй, ему не дам, а то он тут перебьет всю местную публику.

Молодая мамаша, у которой было множество пакетов, развязала один свой тючок. Там оказалась большая кастрюля, наполненная блинами. Молодая мамаша стала их усиленно кушать и принялась нас угощать. Но мы отказались. И тогда она кинула несколько блинов пробегавшей собаке. Собака без особого интереса съела блины и, даже не вильнув хвостом, побежала дальше.

Я же везла своему сыну десяток пирожных. И теперь твердо решила — более двух пирожных ему не давать.

Наконец мы подошли к лагерю.

За забором раздался чей-то тревожный возглас:

— Родители приехали...

На территории лагеря возникла какая-то суета. На крыльцо вышел начальник лагеря. Потом появился доктор в белом халате. Потом санитарка вынесла для чего-то носилки и поставила их стоймя у входа.

Вскоре прибежал мой сынок. Счастливый и загоревший. Я стала его целовать и тут, забыв обо всем на свете, отдала ему всю корзинку с пирожными.

1950

СОДЕРЖАНИЕ

Зощенко М.

З-78 Рассказы. /Сост. А. Старкова.— М.: Худож. лит., 1987.— 111 с.

В сборник рассказов одного из крупнейших мастеров советской сатиры Михаила Михайловича Зощенко (1894—1958) включены наиболее известные произведения, созданные за три с лишним десятилетия литературной работы.

Смысл своей гражданской и писательской деятельности Зощенко видел в том, чтобы помочь читателю избавиться от черт мещанина, собственника, стяжателя. «Баня», «Аристократка», «Стакан», «Нервные люди», «Прелести культуры», «Дама с цветами», десятки других рассказов и фельетонов уже к концу 20-х годов сделали имя художника хорошо известным в самых далеких уголках страны.

«...Юмор Ваш я ценю высоко, своеобразие его для меня — да и для множества грамотных людей — бесспорно, так же, как бесспорна и его «социальная педагогика»,— писал в письме к Зощенко в октябре 1930 года М. Горький.

Слова эти применительно к творчеству самобытнейшего мастера и в наши дни звучат в высшей степени современно. В них — признание не только выдающегося таланта сатирика, но и заслуженно высокая оценка воспитательного значения зощенковского смеха.

З $\frac{4702010200-301}{028(01)-87}$ КБ-55-10-86 ББК 84Р7

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО

РАССКАЗЫ

Редакторы Ю. Розенблюм, О. Ларкина

Художественный редактор А. Моисеев

Технический редактор Л. Вецкувене, Г. Моисеева

Корректор Т. Гринивецкая

ИБ № 51832

Сдано в набор 08.12.86. Подписано в печать 02.03.87. Формат 60×84[1]/8. Бумага офсет. № 2. Усл. печ. л. 13,06. Усл. кр.-отт. 13,99. Уч.-изд. 16,22. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Тираж 1 500 000 экз. (1-й завод 1 — 500000). Заказ 5325. Изд. № 1-2704. Цена 1 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена «Знак Почета» типография издательства «Московская правда», 123845, ГСП, Москва, Д-22, ул. 1905 г., 7.

1 р. 30 к.

